

98
ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



И 210/64
619

ИСПАНИЯ

БЛАСКО ИБАНЬЕС
ВАЛЕНСИАНСКИЕ
РАССКАЗЫ

ВЫПУСК
№ 24



ПЕТЕРБУРГ
МСМХІХ

Вып. № 24.

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

БЛАСКО ИБАНЬЕС, В.

210 BLASCO IBÁÑEZ
619

1867

ВАЛЕНСИАНСКИЕ
РАССКАЗЫ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ И
СПРЕДИСЛОВИЕМ
Е. А. ФРЕНКЕЛЬ



П Е Т Е Р Б У Р Г

1 9 1 9

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
при Народном Комиссариате по Просвещению

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Испанская провинция *) Валенсия, быт которой рисуют помещенные в этом сборнике рассказы, расположена на восточном побережье Пиренейского полуострова. В сравнении с жизнью центральных провинций, жизнь на этом побережье, по словам автора „Валенсианских рассказов“, легка, ибо, как говорит он, — „изобилие воды и щедрое солнце охраняют природное святое плодородие почвы“.

Однако, воды рек, текущих с гор через Валенсианскую долину к морю, недостаточны: с безводных, пустынных, сжигаемых солнцем степей Кастильского плоскогорья, занимающего внутреннюю часть полуострова, дуют сухие и жаркие ветры; дожди здесь очень редки. Еще во времена мавританского владычества **) была сооружена обширная сеть по-

*) Испания делится на провинции, как Россия — на губернии. Провинции эти до XII, а некоторые и до XV века были самостоятельными государствами: объединение их под властью королей Кастилии и создало современное Испанское королевство, подобно тому, как Русь была „собрана“ Москвою.

**) Название мавров в древности было дано берберам, жителям северо-западной части Африки, и распространилось на арабов, когда последние, вместе с берберами, завоевали Пиренейский полуостров в XVIII веке.

левых оросительных каналов, превративших многие, пустынные раньше местности Испании, в том числе и Валенсианскую долину, в цветущие сады. С тех пор Валенсия стала одной из богатейших областей Испании.

Во времена еще более отдаленные, когда Пиренейский полуостров был под властью римлян, в этой и некоторых других провинциях Испании утвердилось крупное землевладение на основе римских законов и обычаев. С той поры и до наших дней сельское население Валенсии состоит из неимеющих собственной земли крестьян, арендующих мелкие участки в помещичьих имениях.

В главном городе этой провинции, называемся тоже Валенсией, родился в 1867 году, в семье небогатого торговца, Висенте Бласко Ибаньес, автор помещенных в этом сборнике рассказов и целого ряда крупных произведений, переведенных на языки всех культурных стран. О предках своих Ибаньес говорит, что они были не валенсианцами, избалованными ласковой природой, а суровыми, отважными и предприимчивыми жителями Аррагона, нагорной, пустынной и бесплодной провинции, с суровым климатом, откуда аррагонцы „спускались, поколение за поколением, для завоевания гостеприимных городов восточного побережья“.

Дед Бласко Ибаньеса был священником. Как многие католические монахи и священники

Ис
гр
ск
во
на
ри
ск
по
пр
Пр
ви
обу
ти
ств
Б
ост
ск
сле
ман
вов
ств
дей
при
при

*)
пер
общ
они
и ю
свои
стве

Испании, он принимал деятельное участие в гражданских войнах, возникших в эпоху испанской революции 1868—1874 гг., и был добровольцем армии принца Карлоса, объединившего на северо-востоке Испании приверженцев старины под лозунгом „За Бога и Короля“. Рассказы деда об ужасах братоубийственной войны, поддержанной фанатическим духовенством, произвели сильное впечатление на мальчика. Пребывание его в школе иезуитов *), с ее мертвящими детские души приемами воспитания и обучения, на всю жизнь сделало Ибаньеса противником властолюбивого испанского духовенства и его влияния на народ.

Во многих своих произведениях Ибаньес останавливается на событиях эпохи гражданской войны, оставившей глубокие болезненные следы в испанских нравах. Некоторые его романы дают богатые содержанием картины нравов, настроений и типов испанского духовенства, как, напр., „Собор“, в котором главное действующее лицо—фанатик, доброволец армии принца Карлоса, разубеждается в правоте дела приверженцев старины и духовенства и пре-

*) Из всех монашеских орденов (обществ) католической церкви, иезуиты приобрели наибольшее влияние и власть в общественной жизни Испании. Одним из средств, которыми они пользовались для этой цели, было воспитание детей и юности в их школах, куда испанцы по повелению отдавали своих сыновей и дочерей, в виду малочисленности государственных светских учебных заведений.

вращается в фанатика анархии и революции.

Не одно пребывание в иезуитской школе отравило юность Бласко Ибаньеса. Намерение отца сделать его, по окончании учения, торговцем мучило и пугало юношу, мечтавшего о литературном творчестве и литературной славе. Ему было семнадцать лет, когда он ушел из родительского дома и отправился искать счастья в политическом и литературном центре Испании — Мадриде.

В романе „Орда“ Бласко Ибаньес воспользовался горьким опытом первых шагов своих в литературном мире, когда он перебивался случайным грошовым заработком в мадридских газетах, терпел голод и холод, встречал пренебрежение и высокомерную отчужденность в людях, которые, без знаний и талантов, изловчились занять почетные и выгодные положения в журналистике и политике.

Борьба политических партий, кипящая всегда в Мадриде, не могла не увлечь молодого журналиста. Он бывал на рабочих собраниях и выступал на них с горячими речами против привилегий духовенства и аристократии и говорил в защиту республиканских принципов свободы и прав трудящихся. Внимание, сочувствие и симпатия слушателей вознаграждали юного агитатора за материальные лишения и нравственные испытания.

Однако, родители Ибаньеса не примирились с бегством сына и вернули его, как несовершеннолетнего, через полицию домой. Приняв во внимание ораторские способности сына, отец предложил ему поступить на юридический факультет Валенсианского университета. Молодой Ибаньес охотно исполнил желание отца, но, по окончании университета, очень недолго — около полугода — занимался адвокатской деятельностью. Его стремления и планы относительно будущего не изменились. Осуществление их он начал изданием в родном городе, небольшой сначала, республиканской газеты „Народ“. В дешевом тесном помещении редакции происходили совещания представителей местных республиканских организаций, не примкнувших к прежним республиканским группировкам. Бласко Ибаньес собирал около своей газеты таких внепартийных республиканцев для того, чтобы объединить их в новую самостоятельную партию, в центре и во главе которой оказался он, талантливый оратор и редактор газеты.

Свободного времени от политики и журналистики оставалось у него немного: поздние ночные часы. В это время, по окончании политических совещаний и собраний, он писал и просматривал статьи для очередного номера газеты. Работа эта кончалась обыкновенно к двум часам ночи, и тогда принимался он за главное

и самое любимое дело—за свои романы. Первый из них (в России он был напечатан под заглавием „Ярмарка тщеславия“) не был произведением мечтательной фантазии, как часто бывает у молодых начинающих писателей: Бласко Ибаньес начал с наиболее знакомой ему среды валенсианского купечества и сразу показал громадный запас верных и глубоких наблюдений, вместе с мастерским использованием материала.

Есть нечто общее во всех видах творчества, во всех областях деятельности; это—умение верно, логически и последовательно, в естественной связи, делать выбор между бесчисленными представляющимися возможностями. Даже в практической жизни, человек со слабой волей, стесненный всякими условиями, независящими от нашей воли, теряется перед разнообразием возможных действий, решений и поступков. Художник безгранично свободен во всем: в выборе формы произведения, его содержания, действующих лиц и обстановки, слов, поступков и судьбы своих героев. В этом беспредельном разнообразии он должен сделать небольшой выбор, но, вместе с тем, все избранное им для своего произведения должно быть связано между собою единством, внутреннею согласованностью и гармонией красок, звуков, образов и форм. Талант и есть тот творческий инстинкт, который создает из хаоса

беспредельности „твердь“ художественного произведения. Сравнивая произведения молодых писателей с тем, что написано ими в зрелом возрасте, не трудно убедиться, что зрелость, укрепляющая волю, и решительность характера помогают и писателю побеждать колебания и соблазны, избегать уклонений с прямой дороги, отступлений, длиннот,— всего того, что не является необходимым. Выбирать „необходимое“ в искусстве— столь же важно, как не портить жизнь свою ненужным, лишним мертвым хламом.

Бласко Ибаньес с самого начала показал себя решительным, твердым человеком в жизни и зрелым мастером в искусстве. Черта эта хорошо заметна и в небольших его рассказах, в которых самый строгий критик не найдет ненужных отступлений и подробностей. Но ни в жизни, ни в искусстве он не шел легкими путями дешевого успеха: он никогда не подлаживался под вкусы рыночной критики или массового потребителя, охотно покупающего на снех и кое-как сколоченные книги об убийствах, сыщиках или любовных приключениях. Поэтому, первые его романы и критика (которая в Испании стоит на очень низком уровне), и публика оставляли без внимания до тех пор, когда произведения Ибаньеса были переведены на французский язык и восторженно приняты французскими писателями и читателями. Таким

образом, через более чуткую, более культурную Францию, легла дорога Бласко Ибаньеса к славе и на родине.

Не менее тернист был путь его политических успехов. Ему пришлось испытать все неприятности, какие могут причинить преследования правительства, — много раз он подвергался арестам и сидел в тюрьме и крепости, был выслан из Валенсии и из Испании, жил политическим изгнанником в квартале русских беглецов времен самодержавного режима в Париже. Ему пришлось также претерпеть непримиримую вражду политических врагов и соперников, пользовавшихся всяким поводом для опорочения его в общественном мнении. Особенно жестокая борьба идет между Бласко Ибаньесом и вождем другой республиканской группы Валенсии — Родриго Сорриано, которого за крайне резкие приемы политической агитации и борьбы в Испании называют „неистовым Родриго“. „Бласкисты“ (т. е. сторонники Бласко Ибаньеса) и „соррианисты“ (сторонники Сорриано) борются всеми средствами между собою из-за того, чтобы получить большинство голосов на выборах в палату депутатов и в местные муниципальные учреждения: в „провинциальную депутацию“ (земское собрание) и в „айюнтамиенто“ (городская дума). И Сорриано, и Бласко Ибаньес состоят одновременно, и много уже лет подряд,

депутатами Валенсии в испанской палате депутатов („кортесы“), а на городских выборах их партии борются с переменным счастьем. Борьба эта сопровождается уличными столкновениями и схватками, часто стрельбой из револьверов и ножовщиной, вследствие участия в уличной политике того общественного слоя, который Бласко Ибаньес изобразил в типах „валенсианских удальцов“. В своем рассказе „Краса Валенсии“ Ибаньес указывает на связь этих „удальцов“ не только с местными высшими администраторами и полицией, но и с политическими деятелями. И, действительно, бунтарская, вызывающая к инстинктам насилия, разрушения и алчности, агитация Сорриано привлекает в ряды его сторонников не мало „удальцов“, иронически названных Ибаньесом „Красой Валенсии“.

В свою очередь, соррианисты, хотя и не отрицают ни в малейшей степени частную собственность, обличают „буржуазность“ Бласко Ибаньеса. Бласко Ибаньес, во время поездки своей в Южную Америку, сделался там собственником земельного участка. По возвращении из Америки в Валенсию, Ибаньес обратился к безработному и безземельному населению с призывом применить свои силы, энергию и предприимчивость в Южной Америке, вместо того, чтобы терпеть на родине безработицу и тяжкую нужду. За это „соррианистские“ газе-

ты обвинили его в попытке эксплуатировать переселенческую бедноту, в старании заселить свой собственный участок дешевыми рабочими.

Люди, знающие хорошо Бласко Ибаньеса, не видят ничего невероятного в предположении, что он увлекся колониционными предприятиями, оживлением богатейшего от природы, но пустынного еще края на границе Аргентины и Бразилии. Как бы то ни было, до сих пор Ибаньес живет исключительно литературными заработками (как депутат, он, по испанскому закону, не получает никакого вознаграждения, если не считать права бесплатного проезда по казенным железным дорогам). Поездка его в Америку—как и многие другие путешествия его—дала ему материал для нового романа (недавно переведенного на русский язык под заглавием „Аргонавты“), рисующего типы европейских искателей наживы в Америке.

Бласко Ибаньес изучает не только природу и быт мест, в которые помещает действующих лиц своих романов, но и прошлое, историю их. В этой области он так же силен, как в наблюдении природы и современной жизни. Так, в романе „Собор“ он дал блестящий очерк истории одного из замечательнейших учреждений католической церкви—Толедского собора; в „Куртизанке Соннике“—он воспроизвел с та-

ким же блеском и глубоким знанием давнее прошлое знаменитого героизмом своих жителей древнего испанского города Сагунта; во „Власти Мертвых“—он рисует средневековую жизнь на Балеарских островах мальтийских рыцарей, морских пиратов и т. п. Необходимость этой предварительной научно-исторической работы проистекает из общего характера литературного творчества Ибаньеса: он не ограничивается поэтическими описаниями природы и внутренней душевной жизни своих героев, но берет последних со всеми их связями, отношениями и столкновениями с окружающей средой, обществом, государством, со всеми сложными условиями современной жизни и входящими в нее пережитками, обычаями, предрассудками и страстями прошлого, предков, „мертвецов“.

Из собственного опыта и наблюдений он вынес убеждение, что сильнейшим оплотом власти прошлого над настоящим и крупнейшей помехой на пути Испании к свободе и культуре, к образованию и богатству—является католическая церковь, католическое духовенство. Это убеждение разделяет с ним большинство старых и современных писателей (напр., Б. Перес Гальдос), большинство испанской интеллигенции и вообще европейских мыслителей, начиная с Монтескье (знаменитый французский государствовед XVIII века) и Бокля (английский пи-

сатель середины XIX века, автор известной „Истории Цивилизации“, умерший в 1862 г.).

Действительно, нигде церковь не сумела захватить столько власти и столько богатств (в частности—земли), как в Испании. Нигде духовенству не удавалось с таким успехом — при помощи, однако, самых варварских способов борьбы,—искоренять всякие мнения и учения, неудачные и неудобные церковной знати, с римским папой во главе.

В эпоху религиозной революции, Реформации (в XVI веке), когда европейские народы восстали против „первого сословия“ *), католическое духовенство Испании, при помощи тюрем, пыток, казней и костров, отстояло полностью свое господствующее положение. С тех пор в Испании замедлился и политический, и умственный, и экономический прогресс, по сравнению со всеми странами, пережившими церковную реформу. Болезнь, не излеченная тогда резким и крутым способом, сделалась хронической; не свергнутое бурным порывом зло продолжало угнетать последующие поколения. Каждому испанцу в отдельности, в своей жизни, приходится преодолевать этот гнет, из-

*) Католическое духовенство считалось первым сословием в средневековых государствах, дворянство—вторым, буржуазия (нетитулованные и непривилегированные собственники), а иногда и весь народ, за исключением духовенства и дворян—третьим. Рабочие впоследствии названы были четвертым сословием.

вечный, всепроникающий, необъятный. Борьба эта происходит нередко и в сердцах молодых католических священников. В рассказе „Брачная ночь“ Ибаньес дает яркую картину душевных страданий молодого сельского священника из крестьян, который верил, что священнический сан вознесет его на недостижимую высоту над простыми крестьянами, а приняв этот сан, очень скоро увидел себя не на лучезарной высоте, а в „бездонной пропасти“.

Все эти рассказы, как и большая часть написанных Ибаньесом романов, рисуют быт его родной провинции. Так называемый, „провинциальный роман“ получил во всех странах Европы в конце XIX века сильное развитие, — менее всего, быть может, у нас в России, где провинциальная жизнь и провинциальная культура, к несчастью, не испытали того подъема и расцвета, который в Европе явился следствием экономического прогресса и свободного местного самоуправления.

Провинция Валенсия имеет свои особенные нравы, свои обычаи, свое наречие испанского языка, чистой формой которого считается язык Кастилии *). На кастильском языке пишет и

*) Кастилия и кастильский язык имеют в Испании то же значение, что в России Белоруссия и белорусский язык. На кастильском языке говорят также жители бывших испанских владений в Америке: Мексики и центрально-американских и южно-американских республик.

Бласко Ибаньес, прекрасно пользующийся приданной ему испанским народом сжатостью, энергией и выразительностью: он вливает в этот язык неисчислимое художественное богатство образов и в совершенстве владеет его музыкальными достоинствами. Описание вечера на улицах Валенсии в „Обыкновенном деле“, картина „шествия зверей“ в „Красе Валенсии“, воспоминания юности в „Брачной ночи“ принадлежат, в подлиннике, к лучшим образцам художественной прозы.

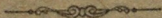
Ибаньес—не только тонкий и внимательный наблюдатель и талантливый рассказчик; он—поэт, претворяющий виденное в художественные образы. Природа, для описания которой он находит в своем сдержанном суровом языке столько нежности и столько неповторяющихся красок и оттенков, живет в его произведениях одной великой жизнью с людьми, составляя с их душевным миром одно гармоническое целое. Так, в „Брачной Ночи“ степной палящий ветер усиливает впечатление от картины пробуждения знойной страсти, а в „Красе Валенсии“ бурная и кровопролитная ссора между „удальцами“ выделяется своей тревожностью на фоне ясности деревенского спокойствия и тишины летнего солнечного утра; кровавый конец праздника примирения нарушает не только мирные отношения людей, но и спокойствие ласковой природы.

В многообразных отношениях и положениях являются в произведениях Ибаньеса люди — во всей полноте и широте многокрасочной действительности. Но во всем этом многообразии преобладает одна черта, один мотив — мотив борьбы, действенного проявления личности, — от простейших первобытных инстинктов и страстей до утонченных чувств и облагороженных стремлений.

Как мы видели, эта печать энергии, силы и действительности одинаково лежит и на художественном творчестве, и на самой жизни Бласко Ибаньеса. Огромным напряжением воли и таланта он победил равнодушие испанской критики и публики, и в политической деятельности своей настойчивостью, выдержкой и упорством добился успеха. Наконец, считая важнейшим в Испании делом перевоспитание умов и характера народа, развращенного многовековым церковным рабством и опекой самодержавно-бюрократических правительств, он, всей силой своего таланта, штурмует твердыни национальной отсталости, предрассудков, косности, невежества. Не ограничиваясь собственной литературной деятельностью и изданием газеты, он печатает на испанском языке сочинения писателей, оказавших наибольшее влияние на европейскую общественность конца XIX и начала XX столетия (Л. Н. Толстого, французского философа Э. Ренана, Э. Золя, М. Горь-

кого, Анатоля Франса, кн. П. А. Кропоткина и др.), с которыми он выполняет одно и то же великое дело служения Искусству и Культуре.

Евг. А. Френкель.



БРАЧНАЯ НОЧЬ.

I.

Этот четверг был настоящим праздником в Бенимаклете.

Ведь не так уж часто можно иметь удовольствие видеть, как дитя деревни, постреленок, которого все помнят босоногим неумытым уличным мальчишкой, превращается, после нескольких лет ученья, в настоящего важного попа; по этой то причине лишь весьма немногие отсутствовали на первой обедне, которую служил Висантет—виноват!—дон Висенте, сын тетки Паскуалы и дяди Нело, по прозванию Больо *).

С залитой теплым весенним солнцем площади, в сияющей атмосфере которой танцовали и сверкали золотыми искрами мухи и шмели,—отверстие церковных дверей, как широко раскрытый рот, которым дышала толпа,—казалось куском черного неба, с яркими симметричными созвездиями зажженных восковых свечей.

Какое множество огней! Всем было известно, что за них заплатила крестная мать Висан-

*) Колобок.

тета, та дама, что из Валенсии, у которой дядя Больо арендовал землю и которая взяла на себя расходы по образованию ее крестника.

Во всей церкви не было ни одного придела, ни одного угла, в котором не горели бы свечи; люстры, обремененные толстыми восковыми свечами, искрились многоцветными отражениями, и к запаху горящего воска присоединялся аромат цветов, расположенных букетами на алтаре, окаймлявших карнизы и спускавшихся гирляндами с лампад.

Цветы были данью старинной дружбы, соединявшей семью Больо с теткой Тоной и ее дочерью, известными цветочницами, торгующими на цветочном рынке в Валенсии. Вполне естественно, что эти женщины обошли с ножницами в руках свой сад и пожертвовали заработком целой недели, чтобы достойным образом отпраздновать первую обедню сына тетки Паскуалы.

Казалось, все цветы долины сбежались сюда в поисках убежища, испуганно толкая друг друга под сводами церкви. Чаша едва виднелась между двумя огромными пирамидами из роз, а позолоченные святые и ангелы на главном алтаре, погруженные в цветы по пояс, тонули в целом облаке лепестков и листьев, которое при свете свечей блистало всеми цветами радуги, от изумрудно-зеленого и кроваво-красного до нежнейших перламутровых тонов.

Толпа, теснясь и толкаясь, распространяя запах грубой шерсти и здорового пота, чувствовала себя в церкви лучше, чем когда-либо, и не заметила, как подошла к концу двухчасовая служба.

Большинство в этой толпе привыкло подбирать, как драгоценности, вонючие отбросы города и постоянно ворочать горы навоза, в которых заключался ближайший урожай; эти люди испытывали трепет чувственного наслаждения, упиваясь свежим благоуханием роз, гвоздики, нарда, лилий, с примесью восточного аромата ладана. В глазах у них все прыгало от непрерывного сверкания огней, а нежные рыдания скрипок, тяжеловесное рывканье контрабасов и этот хор, поющий по концертному на непонятном языке,—все во славу сына дяди Больо,—странным образом кружили головы.

Толпа чувствовала себя удовлетворенной. Она смотрела на ослепительно убранную церковь, как на принадлежащий ей волшебный дворец. Так с музыкой, цветами и облаками ладана—должно быть и на небесах, только чуточку просторнее и не до седьмого пота жарко.

Все пришли в дом Господень с сознанием своего достоинства. Тот, кто торжественно двигался в золотом облачении там, на ступенях алтаря, в голубых облаках кадильного дыма, и кому проповедник посвящал свои звучные периоды,

был из их среды,—еще один, освобождавшийся от упорной, тяжелой борьбы, необходимой для того, чтобы заставить непрерывно производить усталые недра матери-земли.

Большинство, на правах старших, не раз дирало его за уши, многие играли с ним в бабки, и все видели, как он с корзиной за плечами ходил в Валенсию подбирать навоз на улицах и перекапывал мотыкой один из крохотных участков земли этой долины, дающих каждый пропитание целому семейству.

Поэтому его слава была славой всех; не было человека в селе, который не считал бы, что и он имеет свою часть в его величии, и взгляды всех были устремлены на алтарь, на этого здорового детину, смуглого, с блестящими глазами,—живое напоминание о сарацинском нашествии,—с огромными жилистыми волосатыми руками, выступающими из белоснежных кружев, более привычными иметь дело с мотыкой, чем острожно касаться священных предметов алтаря.

И он сам по временам обводил взглядом, полным ласки и любви, эту сжавшуюся до неимоверной тесноты толпу. Сидя в бархатном кресле между своими двумя дьяконами, старыми священнослужителями, знавшими его с самого рождения, он взволнованно слушал крикливый голос проповедника, превозносившего значение христианского священнослужителя и восхвалявшего

нового защитника веры, вводимого в ряды воинства церковного.

Да, это говорили о нем: сегодня он освобождился от рабства жалкой земли и вступал в иной могущественный мир, основанный не на происхождении; он вступал на лестницу, ведущую от скромного попа, сына нищих родителей, к наместнику Господа Бога на земле.

Перед его глазами рисовались необъятные возможности. И всем этим он обязан был своим покровителям, этой доброй барыне, тучной, вспотевшей, в кружевной мантилье и черном бархатном платье, и ее сыну, которого он, священник, служащий обедню, по привычке почтительного арендатора продолжал звать «барчуком».

Ступени главного алтаря, возвышавшие его над толпой, казались ему как бы символом его будущей жизни, его морального превосходства в глазах тех, кто знал его в прежнем низком состоянии. Его волновали самые благородные намерения. Он будет кроток сердцем, будет пользоваться своим высоким положением лишь для того, чтобы делать всем добро. И одним взглядом бесконечной любви и нежности он охватывал все эти так хорошо знакомые ему лица, подернутые туманом густой, насыщенной испарениями праздничной атмосферы церкви; вот его крестная, вон дядя Больо и тетка Паскуала, плачущие наизрыд, как дети, закрыв лицо руками, а

вон там Тонета-цветочница, подруга его детства, красивая девушка с удивленно поднятой гордой головкой красавицы-мавританки, точно она не может освоиться с мыслью, что Висантет, тот мальчик, с которым она обращалась как с братом, превратился в серьезного священника, имеющего право знать ее маленькие грешки и отпустить их.

Служба шла своим чередом. Новый священник, взволнованный и счастливый, возбужденный насыщенной удушливыми ароматами атмосферой, продолжал автоматически служить обедню с помощью то и дело подсказывающих ему товарищей, чувствуя, как слабеют у него ноги и как дрожит все его здоровое тело атлета; его поддерживал единственно страх, как бы слабость не заставила его совершить какое-нибудь святотатство.

Как в тумане сна, он отслужил конец обедни; с бесчувственностью, изумившей его самого, совершил он то жертвоприношение, о котором столько раз думал с волнением, и после *Te Deum* упал без сил в кресло, закрыв глаза и чувствуя, что задыхается под этой старинной, столь соблазнительной для антикваров ризой, которая составляла гордость прихода и на которую он столько раз смотрел, когда был семинаристом, как на предел своих честодлюбивых стремлений.

Сильный запах роз и мускуса и плеск воды вернули его к действительности.

Крестная мыла и умашала благовониями его руки для заключительной части церемонии посвящения, и весь народ, толпясь, напирал на главный алтарь, желая видеть вблизи нового священника.

Начиналась пора власти и почета. Барыня, которой он столько раз прислуживал, с благоговением лобызала его руку и, называя его доном Бисенте, желала ему много счастья в его священном браке с церковью.

Несмотря на свое волнение, новый священник не мог подавить в себе чувства гордости и закрыл глаза, точно его лишало сил это первое преклонение перед ним.

Что-то жесткое и грубое сдавило его руку. Это были лапы бедняги дяди Больо, покрытые корой от работы и от старости. Священник увидел перед собой залитые слезами, подергивающиеся растроганной грамасой, морщинистые, загорелые лица своих бедных родителей, смотревших на него с восхищением скульптора, который, изваяв статую святого, повергается перед собственной работой ниц, считая ее явлением высшего, сверхъестественного происхождения.

Народ плакал, глядя на эту тесно обнявшуюся группу, в которой золотая риза сливалась с черными одеждами стариков, и на три близко сдви-

нувшися головы, колеблемые рыданиями и поцелуями.

Напор любопытной толпы расстроил эту трогательную группу, и священник, разлученный с родными, оказался во власти публики, которая, теснясь и напирая друг на друга, устремилась к его рукам.

Эта процедура оказалась нескончаемой. Весь Бенимакет прикладывался со звонкими, как удары бича, поцелуями к этим волосатым рукам, унося на своих потрескавшихся от солнца и ветра губах запах мускуса и розового масла.

Сдавленный напором толпы, навалившейся на его кресло, новый священник, лишенный воздуха и смертельно утомленный, был близок к предстоящему обмороку.

И вдруг в этой удушливой толчее, когда его взор уже отуманился и он откинул голову назад, он почувствовал на своей правой руке прикосновение, от которого ощущение свежести волной разлилось по его крови.

Это были милые румяные уста сестры его Тонеты, прикасавшиеся к его рукам, в то время, как ее черные глаза впились в него, напряженно-серьезные, точно за ними крылся еле сдерживаемый невинный смех подруги его детских игр, протестующий против торжественной и пышной церемонии.

Рядом с ней, гордый, прекрасно сложенный, настоящий геркулес с перекинутым через плечо полосатым плащом и с надменно закинутой стриженной головой, стоял другой товарищ его детства, Чимо Черный, самый добродушный и самый драчливый парень во всем Бенимаклете. Он с покровительственным видом стоял подле коленопреклоненной девушки и, словно ревнивый султан, окидывал окружающих вызывающим взглядом своих огромных мавританских глаз, казалось, говоривших: «Хотел бы я видеть франта, который посмеет до нее дотронуться».

II.

Разговоров об обеде хватило на все село.

По крайней мере шесть унций *), по вычислениям наиболее осведомленных кумушек, потратила добрая донья Рамона, чтобы отпраздновать первую обедню сына своих арендаторов.

Надо было видеть—в самом большом доме селения—этот бесконечный стол, заставленный всем, что только создал хорошего Господь, не говоря о копченой треске и сардинах, и окруженный множеством отборнейших гостей.

Это было целое событие, подтверждение чего

*) Унция—около тридцати рублей.

можно было найти на следующий день на столбах валенсианских газет.

На почетных местах сидели новый священник, стиснутый мягкими, тучными фигурами остальных священнослужителей, принимавших участие в церемонии, крестная мать с сыном и два-три старичка, плакавшие над своими ложками и глотавшие рис, приправленный слезами. По бокам стола помещались несколько господ из города, приглашенных доньей Рамоной, друзья дома и наиболее уважаемые жители деревни, зажиточные крестьяне, воодушевленные вином и сытным угощением и толковавшие о законном короле, живущем в Венеции *), и о притеснениях, которым подвергается религия в наше время владычества либерализма. Это было настоящее свадебное торжество. Вино лилось рекою, гости веселились, а крестная улыбалась полупьяным шуточкам своих соседей, — трех туш, с выпиравшими через расстегнутые воротники жирными подбородками, — заставлявших краснеть почтенную даму от чувства удовлетворенного самолюбия.

Единственным человеком, оставшимся серьезным, был новый священник. Он не был печален:

*) Законным наследником испанского престола считал себя, после смерти Фердинанда VII, брат его Карлос, а затем сын Карлоса, Хайме, тогда как Фердинанд передал корону по женской линии своей несовершеннолетней дочери от четвертой жены, изменяя для этого существовавший в Испании порядок престолонаследия.

Прим. ред.

его серьезность была следствием того, что он был слишком погружен в самого себя. Его воображение неудержимо уносилось в прошлое, пробегая всю минувшую жизнь почти в одно мгновение.

Вид его родных, его триумф в том самом месте, где он терпел голод, этот пышный праздник — заставлял мысль его обращаться к той поре, когда, чтобы добыть заплесневелую корку хлеба, он бегал по улицам с корзинкой за спиной за телегами, или с жадностью кидался на дымящиеся кучки навоза, оставляемые животными, точно это было золото.

Это была худшая пора его жизни, когда ему приходилось целыми часами нить и кланяться, чтобы бедная мать решилась заморить его никогда не знавший удовлетворения голод тем куском хлеба, который она откладывала на черный день.

Вид Тонеты, смуглое, изящное личико которой вдруг появилось перед ним в конце обедни, вызвал у нового священника более приятное воспоминание.

Он видел себя маленьким оборвышем в саду тетки Тоны, в этом чудном уголке, обнесенном тростниковым плетнем, где цветы разводились в таком изобилии, точно овощи в огороде. Он помнил Тонету, растрепанную, загорелую, резвую, как мальчишка, не раз заставлявшую его стра-

дать в играх своими проделками настоящего чертенка; затем она быстро выросла, и судьба их изменилась; она ежедневно ходила в Валенсию со своими корзинами цветов, а он—в семинарию, куда поступил по протекции доньи Рамоны, которая, заметив его склонность к учению и остроуму ума, решила сделать из этого отпрыска деревенской нищеты—священника.

Тогда наступили лучшие дни, воспоминание о которых обвевало сладкими ароматами все его прошлое.

Как любил он эту добрую сестру, которая столько раз поддерживала его в минуты упадка духа.

Зимой он выходил из своей лачуги почти на рассвете, отправляясь в семинарию.

На правой руке у него висел грязный мешок, заключавший в себе завтрак, который он должен был с'есть между двух уроков под тополями бульвара Серранос: краюху черного хлеба да еще чего-нибудь на придачу,—пища, которая, не насыщая его, лишь вводила в заблуждение его желудок; в большом бумажном платке, завязанном концами на груди накрест, заключались латинские книги и прочая теологическая премудрость,—они танцовали у него за спиной, точно подвижной горб. В таком снаряжении он проходил мимо сада тетки Тоны, мимо ее крохотной

лачужки, ка-
ту, ка-
свеже-
намасл-
ные ко-
лепест-

И с-
пинкам-
совала-
нюю Т-
нями и-
которо-
солнца

Как
глаза.
над ни-
как ка-
ки, ок-
выми
прыжк-
этот г-
ром от-
светил
носилс-
нии кл-
скими
в возд-
тов; во

лачужки с синими оконцами, как раз в ту минуту, как дверь ее отворялась, и выходила Тонета, свеженькая, только что умывшаяся, с гладкими намасленными волосами, ловко неся две огромные корзины цветов с влажными перепутанными лепестками.

И они вместе, по хорошо известным им тропинкам, отправлялись в Валенсию, которая расположилась вдали, в тумане раннего утра, над зеленою Тополевой аллеей, своими стройными башнями и красной колокольной Мигелете, верхушка которой загоралась раньше, чем первые лучи солнца падали на землю.

Какие чудные утра! Священник, закрывши глаза, видел темноводные каналы с шумящими над ними тростниками; зеленые поля, покрытые, как капельками пота, сверкающей росой; тропинки, окаймленные низким кустарником, с пугливыми лягушками, при звуке шагов нервными прыжками бросавшимися в зеленоватые лужи; этот горизонт, который с моря загорался пожаром от соприкосновения с огромным пламенным светилом; дороги, с которых по всем садам разносился скрип колес и ржанье лошадей; плантации клубники, усеянные склоненными человеческими фигурами, при каждом движении которых в воздухе блестела змеившаяся сталь инструментов; вереницы женщин, которые с корзинами на

головах шли в город на рынок, приветствуя улыбкой и материнским «Добрый день» милую парочку, грациозную, бойкую цветочницу и сильного парня, руки и ноги которого, благодаря необычайно быстрому росту, точно вылезали из узкого черного платья, принимавшего уже цвет мушинных крыльев, свойственный одежде священнослужителей.

Утреннее путешествие было ежедневным освежающим душем для бедного семинариста, который по пути, слушая добрые советы Тонеты, набирался мужества для того, чтобы вынести долгие часы классных занятий, часы бездеятельного состояния, против которого восставала его здоровая натура, его кипучая кровь сына полей, и тяжеловесные толкования, в лабиринте которых ему помогали разбираться подзатыльники.

Они расставались на мосту дель-Реаль: она отправлялась на рынок к своей матери; он шел одолевать мало-по-малу премудрость канонических наук, относительно которых был твердо убежден, что с ними никогда не справится. И едва кончив свой завтрак на бульваре Серранос, на какой-нибудь скамье, в обществе семей каменишников, черпавших ложками свои обеденные порции из дымящейся кастрюли, Висанте, не заметив для себя, направлялся в город и шел, не останавливаясь, до самого цветочного рынка, где находил Тонету за связыванием последних букетов и

ручки.

Всего в которой в памяти постепенно обособилось не бездетство.

К концу сионального о том, в которой в руках воспламенялись новыми мифами и его мифами приходило к концу его бедняк, столь мимолетное рождение собственное. В те семинарии, в которых псалмы

тов и ее мать за подсчитыванием дневной выручки.

Вслед за этими приятными воспоминаниями, в которых заключалась вся его юность, в его памяти прошло время их медленного отдаления, постепенно приходившего вместе с возрастом и обособленностью интересов. Они оба выросли, и не безнаказанно гнулся под ярмом учения его девственный и послушный ум.

К концу ученья он начал испытывать профессиональное увлечение. С энтузиазмом думал он о том, что вступит в корпорацию, члены которой рассеяны по всей земле и держат в своих руках ключи неба и человеческой совести. Его воспаляла слава церкви, борьба пап с королями в прошлом и власть священника над сильными мира в настоящем. Он не был честолюбив, и его мечты не увлекали его дальше скромного прихода, с хорошей церковью и сытным столом, но его наполняла гордостью мысль, что он, сын бедняков, будет принадлежать современем к столь могущественному классу; волнуемый этой мыслью, он всецело отдавался призванию, которое должно было его вывести из низов общественной иерархии на эту высоту.

В те дни, когда он не был в Валенсии, в семинарии, он исполнял в Бенимаклете обязанности псаломщика. Вскоре он превратился в муж-

чину, почти не почувствовав пробуждения возмужалости в своем здоровом теле.

Его воля упрямого крестьянина подавила требования пола, которые вызывали в нем ужас и которые он считал дьявольским искушением. Женщина была, по его мнению, злом, неустрашимым и необходимым ради поддержания существования мира, «бестыжей тварью», по выражению святых отцов.

Красота была для него грозным чудовищем; он содрагался перед нею с отвращением и страхом и чувствовал себя спокойно и уверенно в присутствии лишь той красавицы, которая, вся в белом с голубым, имея подножием луну, недоступно покоряющею кротостью подымает свою голову на алтарях. Созерцание ее будило в семинаристе порывы бесконечной любви и нежности, и те же чувства он переносил и на это земное, плотское создание, на ту, которую он считал своей сестрой.

Это не было греховной, мирской любовью. Тонета была для него сестрой, другом, духовной любовью, сопутствующей ему со времен его детства,—словом, всем, только не женщиной. И такова была сила его воображения, что теперь, среди шумного, праздничного говора, приоткрывая глаза, он видел ее преображенной, и ее смуглое обыкновенное человеческое лицо казалось ему просветленным небесным выражением; ему

чудилось, что она парит над своим местом, что ее шелестящая юбка и платок с изображениями цветов и птиц превратились в лазоревую мантию,—точь в точь как у той, красота которой прославляется в самых нежных, самых возвышенных выражениях, какие только существуют на человеческом языке.

Но вот он почувствовал за своей спиной что-то, что заставило его выйти из дремотного состояния.

Это тетка Тона, мать цветочницы, покинув свое место, подошла поговорить с новым священником.

Бедная женщина никак не могла принорочиться к новому положению сына своей приятельницы. Как добрая христианка, она знала, что обязана оказывать почтение представителю Бога, но пусть это и грешно, а для нее Висантет всегда останется Висантетом и никогда не будет доном Висенте, и хоть четвертуйте её, а она не в силах обращаться к нему иначе, как на «ты». Ведь, его это не обидит, не правда ли? Ведь она знала его с малых лет... Ведь она же отнесла его, завернутого в пеленки, в церковь для крещения. Так какие же могут быть церемонии с мальчиком, на которого она всегда смотрела, как на родного сына. Она оставляет в стороне вопросы этикета,—ведь он знает, как его любят в ее доме. Умри дядя Больо и тетка Паскуала,—и Тоне-

та и она сама были бы готовы пойти к нему вести хояйство; но—увы, сын мой,—не пошла ведь по этому каналу: малютка свихнулась от любви к Чимо Чернскому, этому быку, про которого никто не может сказать ничего, кроме хорошего. Они хотят повенчаться поскорее,—если можно будет, так еще до Иванова дня,—что же делать... В доме не хватает работника, сад в полной власти поденщиков, обе они нуждаются в мужской поддержке, а так как Черный—человек для этого вполне подходящий,—худого о нем не скажешь,—то мать дала согласие на свадьбу дочери.

И болтливая старуха глазами выпрашивала священника, точно ожидая, чтобы он одобрил ее решение...

Ну, а теперь ей надо попросить его... о чем? О том, что Тонета непременно желает, чтобы их венчал он. Зачем же, в самом деле, искать чужого священника, когда у них есть свой, почти родной...

Священник не колебался: просьба показалась ему вполне естественной. Хорошо, он их повенчает.

III.

День, когда венчалась Тонета, был одним из самых худших в жизни нового священника бенимаклетского прихода.

По окончании свадебного обряда, дон Висяте снял с себя в ризнице священнические одежды, бледный и дрожащий, точно его мучил тайный недуг.

Причетник, помогая ему снимать облачение, говорил о нестерпимом зное. Стоял июль; долина изнывала под непрекращающимся жгучим западным ветром, который, прежде чем утонуть в море, проносится над сожженными равнинами Кастилии и Ла-Манчи и своей адскою сухостью заставляет трескаться кожу и возбуждает нервы.

Но новому священнику было хорошо известно, что не западный ветер был причиной его недомогания. Эти нежности были не для него, привыкшего ко всяким испытаниям полевых работ.

Он раскаивался в том, что согласился обвенчать Тонету. Как мало он знал себя. Теперь только он понял, что скрывалось за братским расположением, родившимся в его сердце еще в детстве.

Он, священнослужитель, избавленный от горестей людских, испытывал глухую тревогу после того, как благословил вечный союз Тонеты с Чимо Черным; он испытывал такое чувство, точно у него только-что отняли что-то ему принадлежавшее.

Ему казалось, что он еще у алтаря и видит почти у ног своих эту хорошенькую головку, покрытую нарядной мантилей. Никогда еще не ви-

дел он Тонеты такой красивой; она была бледна от волнения, и глаза ее странно сверкали каждый раз, как она взглядывала на Черного, который был великолепен в новом платье, в синем плаще с широкой пелериной.

Можно было бы подумать, что священник только теперь в первый раз увидел Тонету. Сестра по духу, которая в его воображении почти сливалась с лазоревой фигурой, попирающей луну, вдруг превратилась в женщину.

Он, никогда не замечавший в ней ничего, кроме свежих, всегда улыбающихся губ, и смотревший на Тонету как на те прекрасные изображения, у которых под золотой одеждой скрываются лишь три деревяшки, поддерживающие бюст, — он думал теперь с мистическим трепетом, что у нее было нечто большее; его воображение видело страшного врага с розовыми круглыми формами и обольстительными ямочками; видел плоть, это могучее орудие зла, которым оно повергает в прах самые сильные добродетели.

Он ненавидел теперь Черного, своего товарища детства. Это был хороший малый, но священнику была теперь невыносима мысль, что это грубое животное соединялось на всю жизнь с цветочницей. Он не должен был соглашаться, — теперь он это сознавал; он расканвался в том, что обвенчал их.

Но тотчас же он устыдился этих мыслей и по-

краснел от сознания, что его возмущение является результатом зависти, искавшей выхода в бес-
сильном ропоте.

Его мучило зрелище чужого счастья, вид под-
готавливающегося взрыва страсти любви, вполне
законной, но от этого не менее невыносимой для
священника.

Он уйдет домой. Он не хочет видеть сва-
дебное веселье: но, выйдя из ризницы, он столк-
нулся с брачной процессией, поджидавшей его,
потому что тетка Тона не желала что-либо де-
лать в отсутствие своего Висантета.

И, как он ни отказывался, как ни упорствовал,
ему пришлось отправиться в тот сад, с которым
у него было связано столько воспоминаний. Сре-
ди развевающихся платьев, нарядных, как весна,
среди ярких шелковых платков и отливающего
мягким блеском бархата, печальное впечатление
производили эта широкая, длиннополая ряса и
унылая шляпа черепицей, подвигавшиеся вперед
так медленно, точно прикрывали они не сильное,
цветущее молодостью и здоровьем, а болезнен-
ное старческое тело.

А когда они вошли в дом, — какие муки
Сколько ласковой предупредительности, казав-
шейся ему предательством.

Тетка Тона, со своей материнской гордостью,
показывала ему переделки, произведенные ею в
доме перед свадьбой. «Смотри, Висантет, — рас-



сказывала она, — вот эта комната — спальня **ново-брачных**. А это — брачная кровать со стеганым голубовато-белым одеялом, расшитым замысловатым узором, стоившим Тонете целый год работы. Молодые прекрасно здесь устроятся... Какая белизна, не правда ли?» И в невинности души, старуха была уверена, что доставляет удовольствие священнику, заставляя его потрогать мягкие подушки и любовно входя во все подробности деревенского комфорта комнаты, которая в эту ночь должна была превратиться в теплое супружеское гнездышко.

И мучения продолжались — результат их братской близости, превратившейся теперь в страшный, наносящий жестокие удары, бич. Это животное Черный и не думал придержать язык в его присутствии; он шутил со своими приятелями по поводу того, что должно было случиться этой ночью, и позволял себе при этом такие комментарии, что женщины визжали, точно крысы, и, задыхаясь от хохота, называли его свиньей и животным; а Тонета в своем домашнем платье, оставлявшем открытыми ее полные смуглые руки, то и дело подходила к нему, касаясь его сутаны своей тонкой, теплой кожей, спрашивала его, что он думает об ее свадьбе, и сопровождала вопросы пристальным взором своих глаз, как будто искавших чего-то в самых затаенных уголках его души.

Гнев Господень! Все считают его чем-то вроде говорящей мумии. Эта девушка осмеливается обращаться с ним так непринужденно и с такой свободой, какой не позволила бы себе и с самым глупым из присутствующих парней: он не мужчина, а поп; мысль об этом была до такой степени горька, что ему казалось, будто все смотрят на него с почтительной жалостью, и от безшестства у него темнело в глазах.

Дорого же заплатил он за приобретенный им почет, за вступление в новый класс общества, за избавление от нищеты, в которой он родился! Он, самый почетный гость на свадьбе, он, дон Висенте, уважаемый священник, смотрел с завистью на грубых деревенских парней в альпаргах *) и в одних жилетах без курток.

Он хотел бы, чтоб его боялись, как и их, как этих парней, к которым женщины остерегались подходить из боязни смелого прикосновения, а главное—не внушать жалости, не считаться чем-то вроде священной мумии, до ушей которой могут доходить самые страстные слова, не производя никакого впечатления.

Чем дальше шла свадебная пирушка, тем ему становилось тяжелее. За столом он сидел подле молодых, чувствуя близость горячего, здорового, трепетного тела, которое, казалось, распростра-

*) Деревенские соломенные туфли.

няле аромат цветущей плоти. Уверенная в безнаказанности своего поведения, Тонета непринужденно, без всякой осторожности, вертась на месте, толкала его или перегибалась к нему и, говоря о неимеющих значения вещах, обдавала его своим горячим дыханием. А этот Чимо, наивный, как дикарь, убежденный, что, после совершенного обряда, все позволено, снedaемый нетерпением, хватал своими толстыми пальцами Тонету за нежный подбородок и, под радостное ржание сотрапезников, запускать руки под стол, глядя в то же время в потолок с выражением деланной невинности и беззаботности.

Терпеть долее — нет возможности. Дон Висенте чувствовал себя больным. От прилива крови к голове лицо его горело; ему казалось, что сухой, раскаленный ветер, палящий кожу, проник в его жилы, и его ноздри расширились и нервно трепетали, возбужденные зрелищем этой грубой плотской страсти.

Он не желает ничего видеть, он желает забыться, остаться один, погрузиться в тупую сладкую апатию,—и, бессознательно, он отпирал из своего стакана, который ему постоянно доливали, из деревенского гостеприимства, заботясь, чтобы он всегда был полон.

Он выпил много, и все-таки ему не удалось заглушить в себе чувства тоски и зависти; он ожидал розового тумана легкого опьянения, по-

хожего на скромное веселье семинарских пикников, когда он и его товарищи с непоколебимой верой в будущее мечтали, что сделаются папами или затмят проповедническую славу Боссюэта *); но теперь он добился только нестерпимой тяжести в голове, так давившей его мозг, точно на его темя навалили какую-то неизмеримую громаду, а лоб сверлили бесконечным буравом.

Дон Висенте был болен.

Наконец, и тетка Тона, убедившись в этом, скрепя сердце, позволила ему удалиться, и священник твердым шагом, но с мутным взором и со звоном в ушах отправился домой, сопровождаемый встревоженной матерью, не пожелавшей ни на минуту дольше остаться на свадебной пирушке.

Пустяки, — беспокоиться было не из-за чего. Это все проклятый западный ветер и целый день хлопот. Нужно только лечь и выспаться.

Войдя в свою комнату в новом домике, где он жил в деревне со времени своей первой службы, он сбросил шляпу и плащ и, не снимая воротника и рясы, повалился ничком, вытянув руки вдоль тела, на свою холостую белую постель; слабые искры его разума мгновенно погасли, и он погрузился в абсолютнейшую тьму.

*) Знаменитый французский проповедник и писатель.

Черное пространство мрака населилось красными точками, бесчисленными подвижными искрами; точно кто-то развел огромный костер; он чувствовал, что падает и падает, и ему казалось, что падение тянется годы, что он летит в бездонную пропасть, пока, наконец, не ощутил всем телом толчка, потрясшего его с головы до ног, и... проснулся на своей кровати, лежа на животе, так, как упал на нее, вернувшись с брачного пиршества.

Первое, о чем подумал священник, это—что прошло уже много времени.

Была ночь. В открытое окно видно было чистое, прозрачное небо, усыпанное беспокойно мерцающими звездами.

Дон Висенте испытывал то же состояние, какое испытывают дамы в комедиях, приходя в себя после обморока и задавая всегда один и тот же вопрос: «Где я?»

Его мозг, схваченный тяжелым сном, работал с трудом, и он не скоро узнал свою комнату и долго не мог вспомнить, как попал домой.

Стоя у окна и бродя отуманенным взором по темной равнине, он собирался с памятью, группировал воспоминания, приходившие вразброд и очень медленно, пока не составил себе полной картины своих поступков до того, как заснул.

Хорошо, дон Висенте, нечего сказать. Какое великолепное поведение для молодого священ-

ника, долженствующего служить примером воздержания! Напился,—да, именно напился,—и это в присутствии собственных прихожан. Не более всего терзало его воспоминание о тех мотивах, которые толкнули его на такой ужасный поступок.

Он—погибший человек. Теперь, когда разум его являлся, хотя чувства его и казались еще притупленными, он приходил в ужас от грозившей ему опасности и восставал против страсти, стремившейся полонить его девственное тело. Какой стыд... Едва выйдя из семинарии, не имея ни малейшего соприкосновения с развращающей атмосферой больших городов, живя в спокойной, добродетельной деревенской обстановке, он уже близок, тем не менее, к тому, чтобы впасть в самые смерзительные пороки. Нет, он будет бороться с соблазном, он преодолеет умерщвлением плоти восставшего в нем Духа Зла. Счастье еще, что оупляющее опьянение погрузило его в сон и вернуло ему спокойствие.

Вдали ударил колокол: пробило три часа... Как долго он спал. Поэтому-то он и чувствовал себя выпавшимся, готовым приступить к повседневной работе.

Из этого окна в задней стене его скромного домика была видна обширная равнина, на которой, при слабом рассеянном свете ззезд, еле обозначались куны деревьев и бесчисленные жилые

строения. Тишина стояла полная. Западный ветер уже улегся, но воздух был еще горяч, и обычные ночные звуки казались прерывистым дыханием измученных полей.

Едва уловимые ароматы носились в воздухе, которые молодой священник вдыхал с наслаждением, точно желая обновить свой организм чистым благоуханием полей.

Взор его блуждал в полумраке, пытаясь различить предметы, которые он столько раз видел при дневном свете. Это ребяческое развлечение, казалось, возвращало его к мирным радостям детства, но вдруг глаза его наткнулись на слабо белеющее пятно, в котором он, как ему казалось, узнал жилище тетки Тоны, и... прощай покой! Прощайте благие намерения укрепить свое мужество и бороться с Духом Зла...

Это был резкий толчок, моментально приведший его в возбужденное состояние. Кувырком полетели спокойствие и примирение; исчезла кроткая апатия, проснулась плоть, сбросив оцепенение чувств, и снова к его щекам прилило то пламя, которое заставило его вспомнить об огне ада.

Густой покров ночи разорвался, и в его воображении снова наступил вчерашний вечер; он видел эти смуглые атласистые руки, прикосновение которых жгло, как огонь, и чувствовал бла-

геухание тела, тайна которого ему открылась за минуту перед тем.

В этот момент,—о, демон искуситель!—глядя на темную равнину, несчастный видел не смутные очертания белого домика, а спальню, погруженную в сладострастный полусвет; он видел ту постель, мягкость которой так выхваляла тетка Тона, и на этом мягком троне,—то, что для других было блаженством, а для него составляло смертный грех, то, чего он никогда не знал и никогда не узнает, и что влекло его теперь к себе с неудержимой силой запретного плода.

Проклятое воображение заставляло носиться перед его глазами теплые, нежные округлости, чарующие линии, тонкие очертания неведомого тела, и возбуждение несчастного росло; он чувствовал в душе своей нечто, пробужденное духом возмущения,—возмужалость, которая мстила за себя за столько лет забвения, распаляя его организм, вызывая шум в ушах, мутя зрение, терзая все существо его, как будто его тело должно было разорваться на части от порывов сдерживаемого желания, которому не было исхода.

Это было искушение в истинном смысле этого слова; он вспомнил о святых пустынниках, ему представился святой Антоний, каким он видел его в картинах,—закрывающим глаза перед бесстыдной красотой, за соблазнами которой пря-

чутся отвратительные дьяволы; но здесь, перед ним, нигде не было злых духов; единственным реальным в образах, которые рисовало ему его воображение, была знойная ночь с ее теплой атмосферой завешенного алькова и таинственными звуками природы, звучащими, как поцелуи.

Они вдвоем там, в теплой постели, окруженные стыдливым полумраком, который сохранит в глубокой тайне безумства сладчайшего из открытий, а он—в своем могильном одиночестве, как паразитное растение в мире, наполненном любовью,—он чувствовал, как до мозга костей его пронизывает вечный холод безбрачной постели.

Казалось, пламенное дыхание, которое обволакивало его всего и жгло его тело, грозя превратить его в пепел, вылетало оттуда, издалека, из белого домика. Решив, что вид этого любовного гнезда и эта сладострастная ночь были главными виновниками его возбуждения, он оторвался от окна и ошупью побрел по темной комнате.

Но спокойствие не приходило, и в этой темноте он все видел ее, чувствовал вокруг своей шеи ее полные руки, а на своих горячих губах тот свежий поцелуй, который вырвал его из обморочного состояния в день, когда он служил первую обедню. Внутренний жар продолжался

и его страдания были уже не только моральными, потому что напряжение, в котором находилось все его существо, причиняло ему мучительную боль.

Воздуха! Прохлады! В молчании мрачной комнаты раздался плеск воды и вздохи облегчения несчастного священника, пылающая кожа которого почувствовала ласку прикосновения холодной влаги.

Он медленно вернулся к окну, успокоенный холодным умыванием. Чувство глубочайшей грусти овладело им. Он спасся, но лишь на время: он носит врага внутри себя, грех скоро подстергает его и одолеет. И эта страшная борьба возобновится на следующий день, и после, и снова, и будет отравлять его существование все больше, по мере того, как пыл здоровой молодости будет все сильнее и сильнее разгораться в его теле. Каким мрачным казалось ему теперь его будущее. Бороться против природы, чувствовать в своем теле источник жизни, который непрерывно нарастает и который надо истреблять направлением воли, а в результате—жить жизнью трупа в мире, где все живо, от насекомого до человека, и во всех действиях направляется любовью,—теперь это казалось ему величайшей из жертв.

Честолюбие и желание избавиться от нищеты заставили его заживо похоронить себя. Он счи-

тал, что поднялся на завидную высоту, и увидел, что, напротив, полетел в мрачную бездонную пропасть.

Его бывшие товарищи по бедности, те, которые терпели голод и гнули спины на полях, были гораздо счастливее его; они познали эту влекущую к себе дивную тайну, которая так недавно только что открылась ему и от которой долг обязывал его навеки отвернуться.

Дорого же заплатил он за свое возвышение. Да будет проклята мысль, пришедшая в голову доброй барыне, которой вздумалось сделать священника из здорового парня, нуждавшегося не в воздержании, а, наоборот, в расточении своих жизненных сил, ищущих выхода для своего избытка.

Он возвысился—это правда,—но зато он был поработен на всю жизнь; он стал выше тех людей, в среде которых он родился, но—он вспомнил из уроков древней истории миф об отважном Прометее,—он видел себя навеки прикованным данной клятвой к неподвижному утесу, беззащитной жертвой плотской страсти, пожиравшей его тело.

Его непоколебимая крестьянская набожность пугалась мысли, что он будет дурным священником, что пробудившиеся в нем потребности пола всю жизнь будут для него источником мучений и отнимут всякую надежду на душевный

мир. И полный страха перед будущим, священник встал в безысходное уныние и, опустив голову на подоконник и закрыв лицо руками, разрыдался над грехами, которых не совершал, и над тем ужасом, который отныне должен сопутствовать ему до самой смерти.

Ощущение влажной свежести заставило его прийти в себя.

Светало. Со стороны моря ночной покров разорвался, и показалась светлая полоска лазури; из тумана начала выступать зеленая долина и неясные контуры зубчатой стены гор; последние звезды меркли; от двора к двору перекликались, точно часовые, петухи, и песни жаворонков, точно веселые мелодии, носящиеся в воздухе в комочках перьев, забились в запертые окна, возвещая наступление дня.

Какое великолепное утро! Быть может, в эту самую минуту Тонета, закрутив вокруг головы растрепавшиеся волосы, стыдливо прикрыв белой рубашкой свои прелести, которые имеет право знать лишь один человек в мире, встает с постели и распахивает окно спальни, чтобы освежить утреннюю свежестью убежище любви и сладострастия.

Священник вышел из своей комнаты с покрасневшими глазами и глубокой, мучительной складкой, прорезавшей его лоб, — навсегда оставшимся напоминанием об этой брачной ночи, когда под-

руга его детства познала любовь, а он сочетался с безнадежностью, этой вернейшей из жен.

Внизу, в кухне, он встретился с матерью, приготавлившей завтрак; бедная женщина не поняла того горького взгляда, полного упрека, который бросил на нее, проходя, священник.

Он машинально вышел во двор; там ему попала под ноги старая, ломанная корзина, облепленная навозом, точно такая же как та, которую носил он в детстве за плечами.

Это было прошлое, вставшее перед ним, чтобы бросить ему в лицо упрек в измене.

Но зато разве он не освободился от низкого состояния, в котором родился. Ведь у него есть все; он может вволю есть и вволю наслаждаться признанным своим превосходством над невежественной чернью.

То, другое, неизведанное им, заставлявшее его трепетать от сильного волнения, это удел тех несчастных, кому приходится вести жизненную борьбу.

Священник застонал, чувствуя пустоту и холод вокруг себя... А ведь если бы его руки — теперь священные — попрежнему носили бы навозную корзину, быть может, он лежал бы в эту минуту на мягкой постели в брачной спальне и смотрел на глядящуюся в зеркало Тонету с прелестными обнаженными и гармоничными формами, выступающими под тонкой рубашкой, улы-

бающуюся и краснеющую при воспоминании о минувшей брачной ночи...

И бедный священник заплакал, как ребенок. Он плакал до тех пор, пока не раздался звон старого гнусавого церковного колокола, звавшего его к церковной службе.

„ОБЫКНОВЕННОЕ ДЕЛО!..“

Когда Висентико, сын синьи *) Серафины, вернулся с Кубы, вся улица Борруль пришла в волнение.

Вокруг его табакерки, всегда наполненной гаванским табаком, толпилась молодежь этого квартала, привлекаемая возможностью скрутить себе папиросу и послушать ошеломляющие истории, к которым относилась с изумительной доверчивостью.

— В Матансас была у меня одна мулаточка, — так она пожелала повенчаться со мной в одну минуту, вынь да положь, как говорится... Она была миллионерша, но я не захотел, потому что очень уж соскучился по родной сторонке.

Это было ложью: шесть лет прожил он вдали от Валенсии и забыл даже говорить по-валенсиански, несмотря на то, что «соскучился по родной сторонке». Он уехал из дому с языком, а вернулся с какой-то приторной размазней во

*) „Синья“ — простонародный валенсианский выговор слова „сеньора“ (госпожа, дама, барыня).

рту, сквозь которую слова принимали в его произношении какой-то противный, унылый, флейтообразный звук.

Жаргон этот и грандиозное вранье, которым он озадачивал легковверную молодежь, сделали Висентико властелином улицы, темой разговоров для всего квартала. Его холщевая куртка с ярко красною каймою, солдатская фуражка, шелковый платок на шее, золоченая перевязь через грудь с увольнительным значком на ней, бледное лицо и развязный вид, закрученные в стрелку усики и развязный вид итальянского хориста,—все это пленило девичьи сердца и заставило их биться так громко, что производимый ими шум можно было бы сравнить с шуршанием коленкорových юбок, обычно накрахмаленных внизу до твердости настоящего картона.

Синья Серафина гордилась этим сыном, называвшим ее «мама». Она с неустанным рвением сообщала соседкам о множестве золотых униций, которые привез с собою Висентико, а к называемой ею сумме, уж и без того порядком преувеличенной, толпа, без зазрения совести, прибавляла, в свою очередь, нули. Кроме того, в народе с суеверным почтением поговаривали о какой-то бумаге, которую хранил отставной солдат, и в которой государство будто бы обязывалось дать ему то-то и то-то... когда обстоятельства позволят это сделать.

При таком положении дел не было ничего удивительного в том, что человек с подобными достоинствами, окруженный атмосферой популярности и обладающий столь непреодолимыми соблазнами, свел с ума Пепету, «хорошую девуку», здоровую, как кобыла, по утрам продававшую на рынке фрукты, а остальное время проводившую на улице, у своих дверей, в броне-носной юбке, пышной шали, с завитками на висках и колечками намасленных волос на лбу, одинаково готовую вступить в драку с первой попавшейся соседкой или взбудоражить всю улицу одним из тех скандалов, на какие способны беспутнейшие девки.

Люди находили вполне законным и естественным сближение между Висентико и Пепетой: это была самая видная парочка в квартале, и, кроме того, говорили, еще до поездки его на Кубу, что между ними уже что-то было.

Не так ясно было, однако, для людей, что скажет на это Менут, порочный и болезненный мальчишка, служивший на бойне резником, жуликоватый малый, с нахальными глазами и с длинными прядями волос, начесанными на уши, которого все недолюбливали и о котором говорили, будто он не раз крал целых барашков.

Пепета была глупа; только такая дикарка, как она, могла целых два года переносить назойливую ревность и тиранические выходы этого

злогобного негодая, которому она могла расквасить физиономию одним ударом могучей своей руки.

Но теперь что-то должно было случиться, непременно должно было случиться. Соседи угадывали это, глядя на Менута, который с видом покинутой собаки целый день бродил по улице, либо засиживаясь в плохеньком кафэ Панчабруты, либо околачиваясь перед домом Пепеты, неизменно грязный, в рубашке с синими полосками и куртке нараспашку, пропитанных зловонием задохшей крови.

Он уже не резал туш для городских мясников, забросил свою грязную тележку и, стремясь залить свое горе, только и знал, что тянул водку в кафэ да ходил следом за Пепетой, униженный, трусливый, согнувшийся, из'ясняясь больше взорами, чем при помощи языка.

Но она уже прозрела. Где были ее глаза?.. Теперь ей казалось невозможным, чтобы она любила когда-то этого грубияна, этого грязного пьяницу. Какая пропасть между ним и Висентико!.. Генеральская фигура,—а как говорит!.. А как поет кубинские песни, как танцует тайго—настоящий ангел!—и, наконец, если у него нет миллионов и мулатки, то, как всем известно, это оттого, что он очень уж соскучился по родной земле.

В ней закипало негодование, когда она виде-

да, как эта дрянь, пропитанная жиром окотекей падали, смеет настаивать на продолжение того, что было не более как капризом... снисхождением из жалости... Как же, дожидайся! Если бы он не давал воли рукам в доказательство своей любви, да научился бы говорить: «Щет гуявы! *) Мулаточка!», как тот, другой,—тогда, пожалуй, она еще могла бы выносить его присутствие.

Непреклонная красавица, в конце концов, перестала даже слушать его; и с тех пор на улице Боррулл появился мрачный призрак—Менут.

В летние вечера, когда жара выгоняла обитателей домов на середину улицы и вокруг горшков, уставленных на сапожнических столиках, собирались семейные кружки, люди видели ревнивого мальчишку, проходившего в тени с таинственным и роковым видом героя мелодрамы.

Грозное видение несколько раз проходило мимо двери Пепеты, кидая взгляды, от которых волосы становились дыбом, на поклонников, составлявших свиту красавицы, и затем исчезало, словно проваливаясь в люк на сцене, в кабачек, где Менут — современный Прометей — отдавал ссви внутренности в жертву раздирающим когтям сквернейшей водки.

*) Дерево Центральной Америки, плоды которого напоминают вкусом высшие сорта европейской груши.

Что это были за ночи! Ареной, на которой разыгрывался новый роман Пепеты, был тротуар, а хором — кружок вокруг шарманки, воздававший почести Пепете, царице вечных празднеств. Подле нее сидела ее мать, не обращающая на себя внимания, старуха, которая не могла раскрыть рта, чтобы не вызвать гневного мычания Пепеты.

Улица, весь день палимая солнцем, оживала при первом дыхании ночи.

Тускло горящие фонари, газовые языки которых казались нарисованными охрой, оставляли все в вечернем полумраке; в дверях появлялись белые фигуры обитателей чуть не в одном белье; слышались ритмические звуки капающей воды с балконов, на которых происходила поливка растений; на всех перилах появлялись глиняные кувшины, а сверху, с темного неба, казавшегося изъеденною молью холстиной, через которую просвечивал далекий свет, спускалось влажное дуновение, воскресавшее землю и вырывавшее из ее груди вздохи жизни.

Изю всех дверей раздавалась музыка; здесь тосковала визгливая шарманка, там мечтала тихая гитара; в одном месте пели хором, резко и фальшиво, а в другом—вдруг подымалась буря воплей, шум отчаянной борьбы—это злые, ошестившиеся собаки бросались друг на друга с угрожающими мордами, пока несколько ударов

стулом какого-нибудь заботливого обывателя не обращали всех их в бегство.

В кружках за столиками разрезывались огромные арбузы; челюсти погружались в их полукруглые ломти; лица заливались красным соком; смятые носовые платки подкладывались под подбородок во избежание порчи костюма, и, наконец, люди со вздувшимися от массы поглощенной воды животами погружались в приятное, блаженное состояние, слушая, словно ангельское пение, пронзительную музыку шарманок.

И вот, в этот час поглощения арбузов, как только серено *) пропоет одиннадцать часов и в группах обывателей начинает проявляться особенное оживление,—в этот час вдали, при слабом свете фонарей, появлялось существо, приближавшееся, медленно покачиваясь на ходу, выписывая зигзаги, точно лодка без руля, и бросая тяжелый якорь на каждом перекрестке.

Это был отец Пепеты, в вытертом берете и с бумажным платком в руке, возвращавшийся из таверны. Он приветствовал гостей хрюканьем в знак своего презрения к развлечениям и к знакомствам дочери,—своей дочери, и исчезал во мраке дома, проклиная скупость домовладельцев,

*) Ночной сторож, оповещающий в течение ночи жителей о времени и о состоянии погоды.

которые назло беднякам всегда устраивают узкие двери.

В эти же часы общественного уличного веселья, поощряемые всеобщими излияниями, ворковали отставной солдат и Пепета: он, нежный, томный, шептал ей что-то на ухо; она, гордая, недоступная и неподвижная, поджимала губы, с оскорбленным видом, потому что уважающая себя барышня всегда должна показывать своему милому собачью физиономию. Мужчины слишком самонадеянны и стоит им заметить, что к ним неравнодушны, и тогда с ними сладу нет.

А в это время несчастный, изгнанный из рая, томился на пороге кафэ с горлом, обожженным водкой, и сердцем, сжатым, как в кулаке, слыша подле себя шуточки приятелей, а вдали пение собравшегося вокруг Пепеты общества, повторявшее арии из какой-нибудь сарсуэлы *), с надоедливym однообразием.

Но как надоедали ему приятели в кафэ! Ну, что, Пепета уж больше его не любит? Прекрасно, пусть же он покажет ей! Мальчишка он, что ли? Разве у него не все на месте? Все это так, но ведь он еще не умер, хватит времени, чтобы показать себя. Скоро Пепета со своим кубинцем отправятся к чортовой матери. Она—потаскушка, а он—просто обезьяна со своим ребяческим сю-

*) Род подвизя с пением.

сюканьем и кудрявым париком. Он еще сведет с ними счеты... Эй, дядя Панчабрута, еще стаканчик очищенного керосину! Вон из того боченка, что стоит в углу и что спровадил на кладбище уже три поколения пьяниц!

А свежий ветерок, колебля полосатую занавеску на двери, приносил все звуки улицы в атмосферу кабака, насыщенную жаром газа и перегаром алкоголя.

Теперь у дома Пепеты пели хором:

Иди со мною и не бойся...

Он различал ее голос, неподвижный и холодный, как всегда, и другой, резкий, вычурный, кубинца, певший «и д и с о м н о й» с такой экспрессией, что у Менута кошки заскребли на душе. Так, стало быть, «иди со мной», — а?.. Ах ты, Господи! Ну, жарко же будет на улице Борруль в эту ночь!..

И он бросился вон из кабака, на что остальные пьющие, привыкшие к его внезапным выходам, не обратили ни малейшего внимания.

Он уже не был больше покорной жертвой, он шел прямо, куда ему было нужно к той проклятой компании, которая в течение стольких ночей была его мучением.

— Эй, кубано, слушай-ка!

В группе произошло движение изумления; все остолбенело. Шарманка перестала играть, хор замолчал, а Пепета злобно повернула голо-

ву. Чего надобно здесь этому каналье? Здесь нет барана, которого можно было бы украсть...

Но ее дерзость ни к чему не повела. Отставной солдат поднялся, хвастливо обдергивая свою холщевую куртку.

— Мне кажется... мне кажется, что сегодня этот щенок перегрузился...

И он выступил из кружка, несмотря на общие предостережения и советы не идти.

Пепета успокоила общество. Нечего тревожиться:—она ручается, что до крови дело не дойдет. Менут—крикун, не стоящий выеденного яйца, а если и посмеет сунуться, так тот уж утрет ему нос... Будем петь! Стоит ли портить настроение из-за подобной дряни?

И компания возобновила пение, но вяло, неохотно, украдкой поглядывая на двух людей, стоявших на мостовой лицом к лицу.

Пусть та, что здесь прекрасней всех,
Войдет в мой дом парией...

Но как раз на паузе послышался голос Менута, звучавший медленно, с бешенством; он как-будто с трудом выговаривал каждое слово:

— Ты солдатский ранец... да, сеньор, солдатский ранец!

Все вскочили на ноги, пороняв стулья, опрокинув шарманку, которая со стоном грохнулась

на землю; но,—увы!—как ни спешили, было уже поздно.

Они вцепились друг в друга как два взбесившихся кота; вонзив когти в шею противника, каждый тряс другого, скользя на арбузных корках и проклиная друг друга.

Вдруг кубинец закачался и упал, словно узел с бельем; в то же мгновение исчезла вся его антильская медоточивость, и он вспомнил, в момент несчастья, язык своего детства:

— Ау, mare mehua!.. Mare mehua!.. *).

Он извивался на камнях мостовой, как перерезанная надвое ящерица, схватившись за живот, в котором почувствовал холодное лезвие ножа, инстинктивно зажимая рукой ужасный разрез, через который вываливались перерезанные внутренности, лилась кровь и нечистоты.

С обоих концов улицы сбегались люди и толкались вокруг упавшего; вдали раздавались свистки, разом все балконы наполнились народом, и на одном из них показалась в одной рубашке синья Серафина, которую всполошили среди первого сна крики ее сына; она, в свою очередь, инстинктивно испускала тревожные крики, еще не понимая всей глубины своего несчастья.

*) „Ой, мать моя!.. Мать моя!“

Пепета
падучей,
рапала во
ря и, не
та, бросал
пронзитель
торый бу

А вин
думая бе
разодранн
тивника п
канной в
ног. Он б
зал скоти
чувствова
даже лег
его губ.

Его по
с накинут
шая физи
рил с пол
глубине д
проходе,

Прохо
приятелям
что он сд
чившемся

Пепета билась в конвульсиях, как в припадке падучей, на руках нескольких соседей; она на-
рапала воздух своими когтями разъяренного зве-
ря и, не будучи в состоянии добраться до Мену-
та, бросала ему в лицо одни и те же оскорбления
пронзительным, раздирающим душу голосом, ко-
торый будил весь околоток: «Вор!.. Мерзавец!..»

А виновник происшествия стоял тут же, не
думая бежать: унылая, тщедушная фигурка, с
разодранной в нескольких местах ногтями про-
тивника шеей, с правой рукой, до локтя выпач-
канной в крови, и с ножом, валяющимся у его
ног. Он был так спокоен, точно только-что заре-
зал скотину на бойне, и даже не вздрогнул, по-
чувствовав на своих плечах руки полицейских,
даже легкая улыбка слегка шевельнула уголки
его губ.

Его повели со связанными за спину руками и
с накинутой на плечи курткой. Его отталкиваю-
щая физиономия была вся исцарапана; он гово-
рил с полицейскими, видимо удовлетворенный в
глубине души тем, что народ толпится при его
проходе, точно при встрече важной особы.

Проходя мимо своего кабака, он гордо кивнул
приятелям, которые изумленно спрашивали его,
что он сделал, как-будто не догадываясь о слу-
чившемся:

— Пустяки... обыкновенное дело, как бывает у мужчин!..

И вполне довольный судьбой, гордый, с видом победителя, он продолжал свой путь к тюрьме, принимая любопытные взгляды с красноречивым видом удовлетворенного идиотизма.

КРАСА ВАЛЕНСИИ.

I.

Знатных посетителей принимал в это утро кабачек «Кубинец» *): цвет местной молодежи, храбрецы из храбрецов, завоевавшие положение в Валенсии собственными доблестями; все, кто жил по примеру странствующих рыцарей силою своей руки; все, кто брал на себя обязанности стражи у дверей игорных притонов; все, кто наводил ужас на банкирские конторы, кто действовал револьвером и ножом на улицах, никогда не переступая, однако, порога тюрьмы в силу некоторых тайных соглашений,—все они были тут и, не спеша, выпивали свой утренний стаканчик водки, с важным видом мирных граждан, отправляющихся на свои дневные занятия.

Владелец кабачка прислуживал им с усердием восторженного почитателя, осторожно разглядывая лица всех этих знаменитостей; не зевали и окрестные ребяташки, толпившиеся в две-

*) Остров Куба — бывшая испанская колония в Центральной Америке, занятая С.-А. Соед. Штатами во время войны с Испанией в 1895—1898 гг. и получившая самостоятельное управление в 1902 г. Испанские солдаты, побывавшие во время войны и предшествовавших ей восстаний на Кубе, получали прозвание *cubanos* (кубинцы).

рях и указывавшие пальцами на наиболее известных из гостей.

Налицо была вся колода карт. Господи Боже, какое великое удовольствие было видеть собравшимися в одну семью, дружески пьющими всех этих молодцов, которые два-три дня тому назад держали в тревоге весь город и почти каждую ночь занимались пальбою на Рыбацкой или Корабельной улице, к величайшему удовольствию газетных репортеров, для оживления деятельности пунктов скорой помощи и полиции, которая принималась метаться при первом рычании этих львов, оспаривавших друг у друга привилегию жить на счет более или менее прославленного мужества.

Тут были все. Пять братьев Бандульо, целая династия, которая играла ножами, еще питаясь молоком матери, а затем проходила курс практического образования на бойне и своей тесной солидарностью делала то, что каждый из них был все равно, что все пятеро вместе, вследствие чего престиж семьи был недостижим. Был тут и Пепет, деревенский богатырь, впервые в жизни надевший башмаки и вывезенный из Риверы содержателем одного игорного дома для того, чтоб противопоставить его силу и отвагу страшным Бандульо, не дававшим ему житья своими требованиями и постоянными поборами. А вокруг этих профессиональных знаменитостей группи-

ревалось около дюжины храбрецов второй степени, людей, которые вели нелегкую жизнь,—лишь бы не работать,—сторожей игорных притонов, стоявших на страже у дверей с полудня до рассвета, чтоб заработать три песеты; то были волки, которые если и могли кого укусить, то разве какого-нибудь тщедушного барчука, и которые способны были держать в страхе только полицейских; то были мастера ножевой расправы, которые владели тайной неотразимого удара, и, не взирая на это, потеряли счет полученным ими оплеухам и палочным побоям.

Это был торжественный праздник, который вполне стоил того, чтоб о нем выкрикивали вечером продавцы „La Correspondencia“ за отсутствием «сенсационного преступления».

Шли они все на пирушку, на постоянный двор по дороге в Бурхасот, чтоб достойным образом отпраздновать примирение между братьями Бандульо и Пепетом.

Как настоящие мужчины, они умели разбираться в практических вопросах.

Что за удовольствие в этой войне без отдыха в казармах, с непрерывными ночными побоищами? Никакого: дураки пугаются, знающие люди посмеиваются, а в результате—ни гроша, да еще отцы семейства рискуют отправиться в тюрьму.

Валенсия велика, и хлеба в ней на всех хватает. Пепет не станет вмешиваться в дела того

игорного дома, которым владеют братья Бандульо, а последние любезно предоставляют ему спокойно наслаждаться жизнью в тех игорных домах, которые он оставит за собой.

Что же касается того, кто сильнее и храбрее, — они или он, — то этот вопрос остается открытым, и они не будут подымать его: обе стороны одинаково доблестны и умеют за себя постоять, доказательством чего служит то, что после целого месяца погони друг за другом, перестрелок и поножовщин, заставлявших трепетать прохожих, разбежаться и заператься на замки городское население, им не удалось наградить друг друга ничтожнейшей царапиной.

Необходима взаимная уступчивость и уважение, господа, и пусть каждый живет, как умеет и знает.

И вот, благодаря посредничеству добрых друзей с обеих сторон, дело слажено.

Это доброе согласие радовало душу, и сторонники обеих партий сошлись в кабачек «Кубанец», посмотреть, как старшие Бандульо, люди солидные, широколицые, отлично выбритые, напоминавшие видом своим монахов, чествовали Пепета, потчuya его вином и сигарами, — любезности, на которые этот герой Риверы *), поджарый, черный, со сросшимися бровями, отвечал

*) Уроженец Риверы, вазенспаяского побережья Средиземного моря.

довольным ворчанием. Он был, видимо, стеснен отсутствием привычных альпаргат, плаща и куцого ружья, с которыми ходил по родному селению, выполняя приказание кацика *); в его новом городском костюме ему доставляла удовольствие только толстая цепь часов, да пара перстней с огромными стеклянными брильянтами, — неоспоримые доказательства его богатства, которые его радовали, как ребенка.

Во всем почтенном собрании один мог нарушить общее согласие, это—младший брат Бандульо, дерзкий, насмешливый мальчишка, злоупотреблявший престижем своей родни; за ним не числилось никаких дел, никаких заслуг, кроме разорванных плащей у полицейских или разбитого в пьяном виде фонаря ночного сторожа,—подвиги, вынуждавшие его могущественных братьев прибегать к силе своего влияния, чтобы замять эти мальчишеские выходки в обмен за добрые услуги во время выборов **).

*) Кацик—название деспотических князьков Центральной Америки, перенесенное испанцами на родину для обозначения своих кулаков, мироедов и представителей денежной, чиновничьей и партийно-политической олигархии, „самовластно распоряжающихся (по определению видного испанского юриста) жизнью, честью и имуществом своих сограждан“.

**) Для проведения на выборах желательных кандидатов „кацики“ прибегают, между прочим, к услугам драчунов, берущихся за соответствующее вознаграждение мешать предвыборной агитации сторонников других кандидатур.

Он один был против соглашения с Пелетом и теперь, в день примирения и забвения, не выказывал той обходительности, которую обнаружили его братья. Но они еще примутся—думал он—за это грязное животное, которое не стоит и пощечины, а между тем старалось погубить порядочных людей!..

Они вышли все из кабачка и пошли по середине улицы группой, с видом гордого превосходства, точно весь город принадлежал им; стоявшие парами на перекрестках полицейские приветствовали их любезными улыбками.

Шествие было на славу. Серьезные,—быть может потому, что привычка внушать страх мешает улыбаться,—шли они, беспрестанно отхаркиваясь и сплевывая, неторопливо переговариваясь угрюмыми неестественными голосами, выходявшими чуть ли не из каблуков, и, поднося руки к вискам, проглаживали бакены с выражением сострадательного презрения к окружающим.

Эти толсторожие здоровяки считали высшим шиком иметь маленькую ногу и носили рантовые ботинки на высоких каблуках, что придавало их героической наружности, вместе с панталонами в обтяжку и плотно облегающими тело куртками, нечто неожиданно-женоподобное.

У одних в руках были чудовишно толстые дубинки или обтянутые кожей железные палки, с

треском ударявшие по плитам тротуаров, точно возвещая об этом шествии зверей; у других — игрушечные тросточки; третьи шли ни на что не опираясь, так как имели достаточное общество друзей на своих собственных боках, — ножи, похожие на тесаки, и пятнадцатизарядные пистолеты, более надежные, чем всякий револьвер.

Это шествие героев останавливалось во всех попутных кабаках, чтобы освежиться бутылкой водки, причем неизменно приглашались в компанию встречавшиеся знакомые полицейские, и лишь к двенадцати часам процессия добралась до постоялого двора на дороге в Бурхасот, где уже кипела ключом на огне из виноградных лоз «пазля» *), в которую надо было только засыпать рис.

Когда они уселись за еду, они были уже наполовину пьяны, но это не смягчило их мрачной и презрительной серьезности.

II.

У этих людей были хорошие глотки, и в ка-
стрюле скоро стало видно дно. В глубоких ямах,
проделанных деревянными ложками в гряде ри-
са, появилась на свет Божий сладкая, как мед,

*) Пазля — паленсианское кушанье сложного пригото-
вления, главную часть которого составляет рисовая каша.

подпеченная корочка, самая лакомая часть «пальи».

О вине нечего и говорить. В стороне лежал бурдюк, пустой, высосанный, подергиваемый судорогами агонии, и из рук в руки без конца переходили огромные стаканы, в темном содержимом которых плавали ломтики лимона для придания напитку аромата.

К концу пиршества эти лица утратили отчасти свою бесстрастность суровой маски. Сменялись и шутили, распустивши пояса, чтобы облегчить пищеварение; то и дело раздавалась могучая отрыжка.

В разговоре поминались все приятели, отсутствовавшие добровольно или поневоле: дядя Трипа, который умер как святой, после весьма бурно проведенной жизни; братья Донсайнерс, бежавшие в Буэнос-Айрес из-за нескольких ударов, нанесенных столь неудачно, что дела не мог уладить сам губернатор и многие другие люди не столь высокого полета, находившиеся в Сан-Августине или в Сан-Мигель де-лос-Рейес *), простоватые молодцы, вступившие в число храбрецов, не запасшись предварительно необходимою протекцией.

Cristo! **) Какая жалость, если такие выдающиеся люди умрут или застрянут в тюрьмах или

*) Название тюрем.

**) Cristo—Христос.

на чужбине! Это были удалыцы в полном смысле слова, не то, что нынешние, которые в большинстве случаев подымают с голоду и которых только нищета и превращает в удалцов, так как у них не хватает мужества пустить в свой собственный лоб пулю.

Это говорил младший Бандульо, старавшийся во что бы то ни стало расстроить заключенный союз, оскорбив Пепета. Братья кидали на него суровые взгляды: что за несносное создание! Этого молокососа никуда невозможно брать с собой.

Но скверный мальчишка не желал ничего понять. Он не любил вина, и, повидимому, пришел на пирушку единственно ради удовольствия оскорблять Пепета.

Достаточно было взглянуть на его худое лицо, покрытое синеватой бледностью, с большим неправильной формы родимым пятном, чтоб убедиться в том, что им овладел воинственный задор и непреодолимая ненависть, пылавшая в его глазах и раздувавшая жилы на его лбу.

Да, господа, он не может мириться с некоторыми молодчиками, у которых нет настоящего сердца, а лишь голодный желудок,—он не может мириться с мужичьем, от которого еще пахнет навозом конюшни, где они родились и которое является сюда только для того, чтобы надоедать прядочным людям. Если другим угодно мол-

чать, пусть молчат, но он не из таковских. Он не уймется, пока не докажет, что удалство подобных молодцов—выдумка, расквасив им морду и все прочее, что полагается.

К счастью, тут были старшие Бандульо, люди рассудительные, которые не любили столкновения, когда их можно было избежать. Они видели, что Пепет был бледен и яростно грыз сигару, и шептали ему на-ухо, оправдывая младшего брата тем, что он пьян.

— Плюнь. Мальчишка пьян.

Но никакие извинения не могли помочь делу. Вздвигнувшийся мальчуган, ободренный молчанием Пепета, разошелся во всю.

То, что он говорит здесь, он скажет всюду. Есть не мало мошенников, поддельных удалцов, похожих на гнилые дыни. Он знает одного молодчика, который считает себя героем, потому что его одели в городской костюм, а какой он там герой!.. Он, правда, много воображает о себе, даже пускается рассуждать и ухаживать за Марией Боррикерой из Кардовы, которая поет цыганские песни в кафе «Скала». Вот потеха-то!.. Она смеется над этим дикарем:—уж слишком глуп он, чтоб она могла им соблазниться; девочка бережет себя для настоящих людей, для настоящих удалцов. Ему, например, уже надоело провожать ее на рассвете, когда она уходит из кафе.

Тут уже не помогли благоразумные увещания старших братьев. Пепет был великолепен, когда, вскочив, расправил свое могучее тело и с глазами, мечущими молнии из-под густых бровей, вытянул свою мощную, мускулистую руку, как тиран.

Он отвечал голосом, дрожавшим и прерывавшимся от гнева:

— Врешь! Сопляк!

Едва успел он проговорить это, как стакан с вином полетел ему прямо в глаза; однако Пепет отразил его ударом кулака, поранив себе только тыльную сторону руки осколками.

Поднялась кутерьма. Женщины, бывшие на постоялом дворе, кинулись во внутренние комнаты, испуская пронзительные крики; все почтенное собрание повскакало со своих веревочных табуретов, шаря у себя за поясом; и в воздухе засверкал целый арсенал: навахи *), в форме бычачьих языков, тяжелые, широкие ножи, употребляющиеся на бойне, и пистолеты, курки которых взводились с металлическим шелканьем, заставлявшим волосы становиться дыбом.

Собрание моментально разделилось на две партии: с одной стороны—братья Бандульо с ножами в руках, бледные от волнения, чо корчащие презрительные гримасы перед этими ниши-

*) Складные ножи.

ми, дерзнувшими возмутиться, а с другой — гости, окружившие Пепета, все до единого, люди, до тех пор терпевшие деспотизм бандульской династии и нашедшие, казалось, случай освободиться от него.

Несколько секунд они смотрели друг на друга молча; каждая сторона желала, чтоб начала дру-
гая.

Ну-с, кабальеро *), этого нельзя так оставить... Здесь оскорбили мужчину, а между мужчинами такая штука не прощается.

Жаль, конечно, что праздник кончится не весело, но мужчины, — дело известное, — должны быть готовы ко всему. Очистить место, и пусть улаживают дело, как умеют.

Друзья Пепета, чувствовавшие себя героями и свирепевшие, как звери, в сознании своего численного превосходства, встали перед старшими Бандульо, отрезывая им отступление ножами и градом оскорблений.

В случаях, подобных настоящему, храбрец должен показать себя, со всем своим нутром. Это ничего не значит, что он им брат. Он оскорбил и должен доказать, без посторонней помощи, что он храбр не только на словах.

Но об этом рассуждать не было и надобности: противники уже стояли лицом к лицу перед

*) Милостивые государи.

дверьми трактира, под красивым виноградным навесом, сквозь листья которого прогикали солнечные лучи, золотая паутину, окутывавшую виноградные гроздья.

Младший Бундульо, вытянув правую руку, вооруженную широким остро отточенным ножом, и прикрывая левой грудь, прыгал, как обезьяна, проявляя искусство каторжника в фехтовании, изученном им на задворках улицы де-Куарте.

Все молчали. В теплом весеннем воздухе слышалось жужжание шмелей, журчание воды в соседней канаве, шелест хлеба, качающего своими зелеными колосьями, отдаленный скрип телеги и голоса земледельцев, работавших на своих полях.

Сейчас прольется кровь, и все вытягивали шею с болезненным любопытством, чтоб заметить все удачные выпады и промахи дерущихся.

Проклятый змееныш не успокаивался и продолжал сыпать оскорбления... Ну-ка! Пусть только сунется этот молодчик,—увидит, как из него выпустят кишки.

И тот сунулся,—сунулся с самой примитивной отвагой: не бросился с дерзостью льва, а полез напролом, тяжело, как бык, нагнув твердую голову и выпятив могучую грудь с непреодолимым напором снаряда, выброшенного из метательного орудия.

От одного толчка его лапы младший Бандульо отлетел назад, обезоруженный, шатаясь, но, прежде чем он успел упасть, нож вонзился ему в бок снизу вверх с такой силой, что почти приподнял его на воздух.

Мальчик упал на землю, схватившись обеими руками за бок, за распоротый пояс, сочащийся кровью; по собранию пробежал ропот изумления, почти похожий на аплодисменты.

— Молодчина этот Пепет! Ну-ка, подступись кто-нибудь еще к такому зверю!

Бундульо кинулись к упавшему брату, горя отвагой и в отчаянии готовые пустить в ход свое оружие, схватиться с многочисленными противниками и погибнуть, убивая, чтобы смыть оскорбление, нанесенное семье, которая не могла перенести такого бесчестия.

Но их остановил повелительный жест старшего брата, Нестора семьи, указаниям которого всегда слепо следовали. Это не уйдет от них. Его совет, всегда приводивший до сих пор к добру, это—терпение и хитрость.

Младший брат, бледный, почти без памяти, истекающий кровью, которая потоками лилась из бока, был перенесен братьями в тартану *), ждавшую подле фермы с самого утра, когда привезла все необходимое для пирушки.

*) Крытая тележка.

— Погоняй, тартанеро *)!.. В госпиталь! Туда, куда отправляются мужчины, когда с ними случается беда.

И тартана, подпрыгивая, покатилась, каждым своим толчком заставляя раненого рычать от боли.

Пепет вытер нож листьями салата, валявшимися на полу, обмыл его в канаве и снова спрятав с такой любовью, точно это был его сын.

Деревенский парень необычайно вырос в глазах всех освободившихся от ига Бандульо, и, возвращаясь в Валенсию по пыльной дороге, они наперебой давали ему советы.

Полиции остерегаться нечего: на этот счет среди удальцов молчание соблюдается строго. Мальчишка скажет в госпитале, что не знает, кто его ранил, а если он окажется настолько подлым, что вздумает донести, так там, ведь, его братья,—они наставят его на путь истинный.

Зато ему следует теперь держаться подальше от Бандульо, оставшихся здоровыми и невредимыми. Это народ опасный. Для них важно только нанести удар, и если они не могут этого сделать прямо, лицом к лицу, то нападают измеченнически, из-за угла. Осторожнее, Пепет! Они не простят ему этого, не столько из-за брата, сколько из-за репутации семьи.

*) Хозяин тартаны.

Но возбуждение риверского героя, охватившее его во время борьбы, еще не улеглось, и он презрительно улыбался. В конце концов, все это должно было случиться: он для того и приехал в Валенсию, чтоб посбить спесь с этих Бандульо; там, где он, нет места другим удалцам; одному он уже доказал это, теперь пусть попробуют остальные,—он приведет их всех в порядок!..

Для доказательства, что у него нет никакого страха, он, проходя по мосту Сан Хосе со всей гурьбой в город, пригрозил парой плюх тому, кто попытается сопровождать его.

Он желал идти один, чтоб посмотреть, посмеют ли ему одному враги преградить дорогу. Итак... проваливайте во-свои, —и до свиданья!

Вот это молодчина!.. И шумная толпа рассеялась, стремясь поскорее рассказать в кабаках и игорных домах о поражении Бандульо, причем каждый прибавлял с важным видом, что был свидетелем страшной клятвы победителя уничтожить всю семью.

Этот деревенский силач не лгал, говоря, что не боится Бандульо, и что они его не занимают. Достаточно было посмотреть, как беспечно шел он в одиннадцать часов вечера по Корабельной улице.

Шел он в «Скалу» — послушать свою обожаемую Боррикеру.

Ах, она дрянйь этакая... Если только верно то, что этот заносчивый мальчишка говорил перед тем, как получил удар ножом, он своротит ей физиономию на сторону, а затем не оставит в целости ни одной бутылки, ни одной куклы во всем кафе.

В нем еще кипело возбуждение драки, ярость разрушения, овладевшая им после того, как он «пустил» кровь.

Теперь, пока еще он не остыл, пусть бы вышли ему навстречу эти Бандульо, по очереди или все вместе. Он чувствовал себя способным одним ударом покончить с ними.

Он уже подымался на Мореру, как вдруг раздался выстрел, и герой почувствовал толчок в спину; в ту же минуту у него потемнело в глазах и в ушах раздался звон.

Cristo!.. Ведь это они его подстрелили!..

И, поднеся руку к поясу, он вытащил свой пистолет, но, прежде чем успел обернуться, раздался второй выстрел, и Пепет грохнулся оземь.

Забегали люди, с треском захлопывались окна, в конце улицы послышались свистки за свистками, причем, однако, нигде не было видно ни одного кепи. Пользуясь паникой, братья Бандульо вышли из засады; приблизившись с ножом в руке к неподвижному телу, один из них пнул его ногой, точно узел с бельем!..

— По чести мертв!..

И чтоб окончательно убедиться в этом, он нагнулся над головой умершего; при этом он спрятав что-то в карман.

Когда явились, наконец, полицейские, и вокруг трупы столпился народ, ожидая прибытия властей, при свете нескольких спичек, увидали смуглое лицо Пепета из Риверы с широко раскрытыми стеклянными глазами, а на месте правого уха красную рану, из которой еще струилась кровь.

Они отрезали ему ухо, как по всем правилам убитому быку *).

III.

Похороны были похожи на манифестацию.

Есть еще храбры на свете, не так уж скоро вымрет их племя, как думают иные!

Содержатели игорных домов шли в первом ряду за гробом, в качестве удрученных покровителей покойного, а за ними выступали удалы второго сорта и мечтающие о карьере храбры: мелюзга с рынка и с бойни, ждавшая случая выдвинуться и бредившая молодечеством, пробавляясь пока какой-нибудь песетой, выпро-

*) Матадору подносят ухо мастерски убитого им быка.

шенной в биллиардных или в грошевых игорных домах.

Этот кортеж наглых физиономий в маленьких беретах набекрень и с начесанными на уши прядями волос заставлял сторониться прохожих, думавших про себя, какой удобный случай теряет жандармерия, какой здесь был бы для нее улов!..

Но нет, надо уважать искреннее горе этих людей, которые оплакивают покойного от всей души, с непосредственностью, никогда еще не виданной на погребениях.

Разве так убивают мужчины? Трусые!.. Бродяги!.. И после этого Бандульо еще хотят, чтоб их считали храбрецами! Было бы вполне честно и благородно, если бы они выпустили ему кишки в драке лицом к лицу, потому что на это идут все мужчины, которые чего-нибудь стоят; но убить человека, напав сзади, да еще из пистолета, чтобы не подходить близко, это такая подлость, которая стоит виселицы. И такому молодцу умереть от руки подобной сволочи! Невероятно, что пресса промолчит, и что весь город не восстанет против Бандульо. А что они отрезали ему ухо? Мерзавцы, хуже чем мерзавцы! Это можно сделать с тем, кого убил лицом к лицу: о таких случаях следует хранить воспоминания, но тут... чорт возьми, им гордиться ведь нечем; напротив, они должны стыдиться, как самые паршивые, никуда негодные тереро. Не что

было всего хуже, так это то, что со смертью Пепета, истинного храбреца, удальца из удалцов Бандульо оставались единственными хозяевами города, и порядочным людям, каковыми были остальные, приходилось соединяться вместе, чтоб получать хоть об'едки и иметь возможность жить. А как покойно было под защитой этого риверского льва, призванного для того, чтобы покончить с Бандульо!..

Особенное раздражение выказывали новички, еще ни разу не обновившие навахи, которую носили за поясом сложенной, те, которые еще не попали в сословие, имеющее право жить удалью, но которые питали к Пепету такое же благоговение, какое питают дикари к вновь появившейся звезде.

И все те, кто добивался чести внушать миру страх своим видом, рыдали на кладбище вокруг могилы, глядя на влажные комья земли, падавшие на крышку гроба.

И подобный человек, равного которому никто не знает, отдан на пожранье червям в земле?.. Тысяча чертей! Есть от чего разорваться сердцу!

Молодежь с жадным любопытством ожидала обычных в подобных случаях церемоний, чего-нибудь такого, что доказало бы успеху, что остались люди, которые сохранят о нем память на земле.

Раздалось бульканье жидкости, льющейся на могильную насыпь. Приятели Пепета, мрачные, точно жрецы какого-то страшного культа, выливали вино—бутылку за бутылкой—на эту тучную землю, удобренную перегноем жизни.

И когда образовалась отвратительная красноватая лужа, вся братия вытащила свои навахи, и все, один за другим, принялись яростно чертить на грязи кресты концами ножей, целя в то же время сквозь зубы страшные слова с поднятыми к небу взорами, точно там, в воздухе, должны были пролетать ненавистные Бандульо.

Пепет может спать спокойно: эти мерзавцы получают то, что заслужили... раз им угодно забирать себе все, не делясь по чести с порядочными людьми!.. Они клянутся в этом!..

А в то самое время, как ножи похоронного кортежа чертили кресты на кладбище, братья Бандульо входили в госпиталь серьезные, суровые, торжественные, точно дипломаты при исполнении важнейших обязанностей.

Белое, бескровное лицо младшего Бандульо было видно между простынями, и лишь в его взгляде, обращенном на братьев и выражавшем безмолвный вопрос, сверкала искра жизни.

Несомненно, он знал что-то о случившемся прошлой ночью и желал получить подтверждение.

Да, это верно, это подтвердил ему старший брат, самый рассудительный из всех. Всякий, кто нападает на Бандулю, должен поплатиться за это жизнью. Пока все они живы, спина каждого из братьев хорошо защищена. Разве они ему не обещали отомстить? И вот он отомщен.

И, развернув клочок газетной бумаги, он бросил на простыню грязный кусок мяса, покрытый черными сгустками запекшейся крови.

Мальчишка схватил его, выпростав из-под простыни свои ослабевшие руки, мучительным стоном заглушая боль, которую он испытывал при малейшем движении в своих пораненных внутренностях.

— Ухо!.. Ухо этого негодая!..

Он два раза изо всех сил укусил этот грязный хрящ, который так и захрустел у него на зубах, и братья, сочувственно улыбавшиеся при виде бешенства этого щенка, принуждены были силой отнять у него ухо Пепета, чтобы он не проглотил его.

ДИМОНИ.

I.

От Кульеры до Сагунто, на всей валенсианской равнине не было городка или селения, где бы его не знали.

Как только на площади раздавались звуки его гобоя, мальчишки пускались со всех ног, кумушки весело звали друг друга и мужчины покидали таверну.

— Димони!.. Димони пришел!

Он же, с раздутыми щеками, с блуждающим, потерявшимся в вышине взглядом, не переставая дуть в свою остроконечную флейту, с равнодушным идола принимал эту дань восхищения деревни.

Он был чрезвычайно популярен; всеобщее поклонение делила с ним его старая, потрескавшаяся флейта, неразлучная спутница его скитальческой жизни: когда ее хозяин не валялся под стогом соломы или под столом в таверне, она неизменно торчала у него под мышкой и казалась новым членом его тела, который дала ему природа в припадке любви к музыке.

Женщины, трунившие над этой неудавшейся знаменитостью, сделали открытие: Димони был красавцем. Высокий, крепко сложенный, с круглой головой, высоким лбом, с коротко подстриженными волосами и смелым изгибом носа, он имел в своей спокойной, величественной наружности что-то, напоминавшее римского патриция, только не из тех патрициев суровой эпохи, когда они вели спартанский образ жизни и закаляли себя упражнениями на Марсовом поле, и из патрициев времен упадка Империи, когда императорские оргии испортили их породистую красоту, окрасив их носы пурпуром вина и обезобразив их профили отвислыми, вследствие обжорства, подбородками.

Димони был пьяница. Даже чудеса, которые он проделывал на своей флейте и за которые ему и дали прозвище Димони *), не так привлекали к себе внимание, как изумительное пьянство, которому он предавался по большим праздникам.

Его слава, как музыканта, была так велика, что его приглашали во все селения, и он приходил, спускаясь по большой дороге, прямой и молчаливый, с флейтой под мышкой, ведя за собой, как покорную собачку, тамборилеро **), какого-нибудь мальчишку, подобранного им на дороге; у

*) Демон.

**) Играющий на тамбурине.

последнего весь затылок бывал в синяках от страшных шилков, которыми полубессознательно награждал его маэстро, когда он бил в тамбурин без достаточного увлечения. Когда такая кочевая жизнь надоедала мальчугану, он бросал хозяина, но это случалось всегда уже после того, как оба бывали мертвецки пьяны.

Во всем округе не было другого такого флейтиста, как Димони; но немало хлопот и неприятностей стоило удовольствие заполучить его для игры на праздниках: приходилось окружать его неусыпным надзором с той самой минуты, как он входил в пределы селения, грозить ему палкой, чтобы он не смел заходить в трактир до окончания процессии, и зачастую в избытке заботливости сопутствовать ему внутрь этого заведения, чтобы удерживать его руку всякий раз, как она тянулась к кружке. Но и этих предосторожностей оказывалось мало, потому что сплошь и рядом, шествуя серьезнейшим образом, с закинутой головой, хотя и тяжелым шагом впереди херугви братства, он скандализировал благочестивых участников процессии, вдруг принимаясь играть «Королевский марш» перед оливковой веткой, воткнутой над входом в трактир, а затем печально затягивая «Со святыми упокой», когда статуя святого патрона возвращалась обратно в церковь.

Но и эти штуки неисправимого бродяги, эти

нечестивые выходки пьяного безбожника потешали народ. Детвора толпилась вокруг Димони, выделывая козлиные прыжки в такт его флейте и радостными криками приветствуя его; молва же смеялась над серьезным видом, с которым он выступал впереди распятия приходской церкви, и издали показывала ему стакан вина, — безмолвное приглашение, на которое он отвечал лукавым подмигиванием, как бы говоря: подождите маленько, — после...

Это «после» составляло счастье всей жизни Димони, потому что представляло момент окончания празднества и освобождения из под надзора, когда он снова наслаждался своей свободой под кровлей гостеприимного трактира.

Тут он был в своей тарелке, подле боченков, выкрашенных в темную красную краску, среди столиков, испещренных узорами следов, оставленных на них стаканами; в этом воздухе, пропитанном неприятным запахом чеснока, трески и жареных сардин, видневшихся на стойке под жирной ярко-красной кисеей, под гирляндами, свешивавшихся с балок под потолком, сочных кровавых колбас с проступающим на них оливковым маслом, вареных колбас, испещренных мушинными следами, темных, пряных свиных сосисок и пузатых окороков, осыпанных красным перцем.

Хозяин и появлялся то в
и в
на
кий
тенное
щей лам
табурета
днем,
живая с
но посл
гомерич
Все в
флейту.

— Ба

И Ди
шал общ
инструм
такой за
паузами,
но быст
скончае
шадей в
участие

Затем
потерян
ния в с
что зар

Хозяйка трактира чувствовала себя польщен-
ной появлением гостя, приводившего с собой не-
большую толпу, потому что поклонники флейтиста
идти за ним следом: не хватало рук,
чтобы наполнять вином кружки; в воздухе стоял
острый запах грубого сукна и потных ног. По-
тенное собрание еле виднелось при свете коптя-
щей лампы; одни гости сидели на квадратных
табуретах рожкового дерева с соломенным си-
дением, другие на полу, на корточках, поддер-
живая сильными руками огромные челюсти, точ-
но последние собирались у них отвалиться от
гомерического хохота.

Все взоры были устремлены на Димони и его
флейту.

— Бабушку! Представь бабушку!

И Димони, глазом не моргнув, точно и не слы-
шал общей просьбы, начинал подражать на своем
инструменте гнусавому диалогу двух старух с
такой забавной интонацией, с такими удачными
паузами, с такими визгливыми, головокружитель-
но быстрыми пассажами, что рев грубого, не-
скончаемого хохота потрясал трактир, будя ло-
шадей в соседней конюшне, которые принимали
участие в общем шуме ржанием.

Затем его просили представить «Пьяницу»,
потерянную женщину, которая ходила из селе-
ния в селение, продавая платки, и тратила все,
что зарабатывала, на водку. И лучше всего при

этом было то, что та, которую представляли, почти всегда находилась тут же и первая принималась смеяться искусству, с которым представлял флейтист ее крикливые предложения своего товара, и ее ссоры с покупательницами.

Когда же комический репертуар истощался, Димони, осовевший от поглощенного спирта, пускался в мир своей фантазии и начинал подражать перед безмолвной, превращавшейся в слух аудиторией болтовне воробьев, шелесту хлебного поля в ветренный день, отдаленному звону колоколов,—словом, всему, что поражало его, когда вечером он просыпался среди поля, не понимая, как занесло его сюда после попойки минувшей ночи.

И тогда эти грубые люди уже не чувствовали охоты потешаться над Димони, над его снисходительными шутками или пинками, которыми он угощал своего тамборилера. Искусство этого деревенского бродяги, несколько грубоватое, но искреннее и с проблесками гения, производило глубокое впечатление на их девственные души, и они с изумлением смотрели на пьяницу, казалось, выраставшего по мере того, как лился поток, причудливых арабесок, которые вырисовывала его флейта, и теперь серьезного с сосредоточенным взглядом, выпускающего из своих рук инструмент только для того, чтобы взять

кружку и усладить свой пересохший язык булькающим ручейком вина.

И таким он был всегда. Огромных усилий стоило вытянуть из него хоть одно слово. Несмотря на его популярность, о нем было известно лишь то, что он родом из Беникофара, что живет там в старом доме, который уцелел у него единственно по той причине, что никто не дает ему за него и двух кuartо *) и что за несколько лет он пропил двух мулов, телегу, клочок поля,—все наследство, полученное от матери.

Работать? Нет и тысячу раз нет! Он родился пьяницей; пока он может держать в руках флейту у него не будет недостатка в хлебе,—и он спал, как принц, когда по окончании праздника, проиграв и пропьянствовав всю ночь, валялся, как куль, где-нибудь в углу трактира или в копну соломы в поле, а мальчишка тамборилеро, такой же пьяный, как он, укладывался у его ног, как верная собака.

II.

Никто так и не узнал, как произошло их сближение, но это должно было случиться и случилось: Димони и Боррача сошлись и соединились.

*) Мелкая медная монета.

Следуя своим путем по небосклону пьянства, эти два светила,—одно рыжее, цвета вина, а другое—блуждающая звезда, синеватая, как спиртовое пламя,—столкнулись, чтобы больше не разлучаться.

Братская взаимная симпатия двух пьяниц загоршилась любовью, и они отправились в свои беникофарские владения, чтобы скрыть свое счастье в старой лачуге, где по ночам дежа на полу в той самой комнате, в которой родился Димони, они видели звезды, лукаво подмигивавшие им сквозь широкие щели в крыше, украшенные пышной бахромой неугомонных растений. Весь дом был не более как грудой хлама, гнилью, распадавшейся на куски. В бурные ночи им приходилось бежать из своего жилища, в котором они чувствовали себя, как в открытом поле, и, преследуемые дождем, они перебегали от дома к дому, пока не находили свободного уголка в каком-нибудь покинутом хлеве, где и расцветала в пыли и паутине необычная весна их любви.

Венчаться?.. Зачем? Подумать, как им много дела до того, что скажут люди! Для них законы не писаны и не существует условностей, принятых в обществе. Им достаточно сильно любить друг друга, иметь кусок хлеба в полдень и,—что всего важнее,—некоторый кредит в трактире.

Димони был поглощен страстью, точно перед ним распахнули дверь, которой он не видел до

тех пор, и показали ему счастье, безмерное, неведомое. С детских лет вино и флейта вытесняли все остальные страсти в его душе, и теперь, в двадцать восемь лет, он утратил свое целомудрие бесчувственного пьяницы и, как тонкая восковая свеча во время процессии, таял в объятиях «Пьяницы», этой отошавшей, безобразной, жалкой бабы, почерневшей от спирта, сжигавшего ее внутренности, и страстной до такой степени, что она вся трепетала, словно натянутая струна; она казалась ему воплощением красоты.

Их счастье было так велико, что выступало за порог их лачуги. Они предавались любви посреди улицы с невинным бесстыдством четвероногих и сплошь да рядом, отправляясь в селение, где происходило празднество, устраивались в поле у самой дороги, где их и застигали на месте преступления, в высшем увлечении страстью, проезжие, приветствовавшие восклицаниями и громким смехом свое открытие. От вина и любви Димони стал полнеть: у него вырос живот, он стал одеваться опрятнее, чем прежде, и чувствовал себя спокойным и счастливым подле «Пьяницы», которая все больше ссыхалась и чернела и, посвятив все свои помыслы уходу за ним, совсем не занималась починкой собственных грязных, жалких лохмотьев, еле державшихся на ее плоских бедрах.

Она не оставляла его ни на минуту: такому

молодцу, как он, постоянно грозили опасности; и, не довольствуясь тем, что сопровождала ему в его артистических путешествиях, она выступала рядом с ним во главе процессий, не пугаясь ракет и не без враждебности посматривая на всех женщин.

Когда «Пьяница» забеременела, народ помирал со смеху, находя, что она компрометирует своим видом торжественность процессий.

Посредине шел Димони с закинутой назад головой, с торжественным, гордым выражением лица, с флейтой, поднятой кверху, точно длинный нос, нюхающий небо; по одну его сторону плелся мальчик тамборилеро, колотя в тамбурин, а по другую—переваливалась «Пьяница», с наслаждением выпячивая, точно второй барабан, свой большой живот, который вздувался, словно пузырь, готовый лопнуть. Этот живот заставлял ее идти медленной, колеблющейся походкой и своей беззастенчивой округлостью неприлично приподымал юбку спереди, выставляя напоказ ее отекавшие ступни, хлябавшие в старых, рваных башмаках, и черные, сухие и грязные ноги, похожие на палки барабанщика.

Это был настоящий скандал, оскорбление святыни, и сельские священники пытались урезонить музыканта.

— Однако, послушай, чорт! Хоть женился бы ты на ней, что ли, раз эта грешница не может

оставить тебя в покое даже во время процессии. Я возьму на себя хлопоты с бумагами.

Но хотя Димони на все всегда отвечал согласием, такая перспектива ничуть его не соблазняла. Жениться! Вот еще... как стали бы издеваться над ним люди! Нет, уж пусть лучше все остается попрежнему.

И в виду его упорного отказа жениться его лишали всех почестей, сопряженных с его профессией, хотя и не переставали приглашать на праздники, так как он был самым дешевым и самым лучшим из флейтистов. Его перестали сажать за стол, ему уж больше не подносили просфоры и запретили обоим еретикам вход в церковь в праздничные дни.

III.

Ей не суждено было стать матерью: когда наступили роды, пришлось вырвать по кускам из ее пылающих внутренностей несчастное порождение пьянства.

А вслед за этим чудовищным мертворожденным зародышем умерла и мать на глазах у изумленного Димони; последний, видя, как угасла эта жизнь, без агонии, без конвульсий, не знал, ушла ли его подруга от него навеки или только заснула, как спала раньше, когда у ее ног валялась опорожненная бутылка.

Известие об ее смерти разнеслось по селению, и беникофарские кумушки столпились у дверей лачуги, желая издали взглянуть на «Пьяницу», лежащую в нищенском гробу, и на сидящего подле покойницы на корточках Димони, огромного, всхлипывающего, с поникшей головой, точно бык, пребывающий в меланхолии.

Ни одна душа во всем селении не удостоила войти в дом. Траурный кортеж состоял из полудюжины приятелей Димони, оборванных и пьяных, как он сам, побиравшихся по большим дорогам, да беникофарского могильщика.

Всю ночь они продежурили у тела покойницы, по очереди отправляясь через каждые два часа в трактир, чтобы постучаться в его дверь и попросить наполнить им огромную бутылку; солнце, проникнув в лачугу через отверстие в крыше, разбудило их,—они спали вповалку вокруг покойницы, точь в точь так же, как в любую ночь после воскресенья, когда они с братской доверчивостью валялись где-нибудь на солону по выходе из кабака.

Как они рыдали!.. Лежит она, бедняжка, в гробу для бедняков, спокойно, точно спит, и не может встать, чтобы потребовать свою долю. О, какая ужасная вещь жизнь!.. И это ждет нас всех!

И пьяницы плакали так много, что их душевное возбуждение и опьянение не улеглось до

самого кладбища, куда они проводили покойную.

Все селенье присутствовало издали на похоронах. Добрые люди смеялись, как безумные, глядя на столь забавное зрелище.

Собутыльники Димони несли гроб на плечах; они пошатывались, и зловещий ящик с останками «Пьяницы» порывисто качался из стороны в сторону, точно старое, лишенное мачт судно, которое треплут волны. А за этими нищими шел Димони с своим неразлучным инструментом под мышкой, все с тем же видом умирающего быка, который только-что получил страшный удар шпагою в затылок.

Мальчишки кричали и скакали козлами перел гробом, точно это была праздничная процессия, а народ смеялся, уверяя, что роды были просто комедией, а умерла «Пьяница» от отравления водкой.

Слезы, которые обильно проливал Димони, тоже вызывали хохот. Этакая бестия! Он еще не протрезвился от кутежа прошедшей ночи, и это плачет в нем вино. Его огорчает мысль, что он лишился собутыльницы, подруги для своих ночных попок.

Все видели, как он вернулся с кладбища, на котором из жалости разрешили похоронить это погибшее существо, и видели также, как он с приятелями, в числе которых был и могильщик,

ввалились в трактир и схватились за кружки своими запачканными в могильной земле руками.

С того дня в Димони произошла разительная перемена. Прощайте, славные поездки по деревням, шумный успех в трактирах, серенады на площадях и громкая музыка во время процессов! Димони не желал делать и шагу за пределы Беникофара, не желал играть на праздниках. Работать?! Это занятие для дураков. Пусть не рассчитывают на него; и, чтобы еще сильнее утвердиться в этом решении, он прогнал своего последнего тамборилера, присутствие которого его раздражало.

Быть может, в своих печальных пьяных грезах он мечтал, вспоминая вздутый живот «Пьяницы», о толстеньком малыше с плутоватой рожицей, о Д и м о н и е т е, маленьком Димони, который, может быть, современем будет ходить с ним, аккомпанируя дробью тамбурина дрожащим трелям его флейты. Теперь же он был одинок. Он познал счастье лишь для того, чтобы оказаться затем в еще более печальном положении. Он узнал, что такое любовь, для того, чтобы узнать отчаяние,—две вещи, о существовании которых он и не подозревал до встречи с «Пьяницей».

Он отдался водке с таким рвением, точно платил мрачную дань мертвой; оборванный и грязный, он не мог шевельнуться в своей лачуге,

чтобы не заметить отсутствия этих напоминающих ведьму рук, сухих и тонких, словно клещи, окружавших его материнскими заботами.

Точно филин, сидел он в своей берлоге, пока светило солнце, а с наступлением сумерек, крадучись, выползал из селенья, точно вор, отправляющийся в засаду, и через щель в оградке пробирался на кладбище, — этот холмистый клочок земли, который природа постоянно стремилась выравнивать кустарником, густо населенным бабочками.

И запоздавшие рабочие, возвращавшиеся поздно вечером в селенье с мотыками на плечах, слышали тихую, нескончаемую музыку, которая исходила как будто из могил.

— Димони!.. Это ты?

Музыка смолкала вслед за окриком этих суеверных людей, спрашивавших для того, чтобы отогнать свой страх.

Но затем, как только шаги их удалялись, как только в беспредельной равнине восстанавлилась полная шопотов ночная тишина, на кладбище снова раздавались звуки музыки, грустной, точно жалоба, похожей на далекие всхлипывания дитяти, зовущего мать, которая никогда не возвратится.

КОШАЧИЙ КОНЦЕРТ.

I.

Все жители Бенимуслина встретили эту новость с удивлением.

Женился дядя Сенто, один из первых тузов местечка, первый плательщик податей в округе; невестой же была Марьета, красивая девушка, дочь извозчика, не принеся мужу в приданое никаких сокровищ, кроме своего смуглого личика с хорошенькими ямочками, появлявшимися, когда она улыбалась, и большими черными глазами, которые как будто дремали за длинными ресницами между двумя прядями густых блестящих волос, украшенных дешевыми шпильками и спускавшихся на виски.

Больше чем на неделю взволновало это известие спокойную деревушку, потонувшую в необозримом просторе виноградников и оливковых рощ, со своими потемневшими крышами, обмазанными глиной плетнями безукоризненной белизны, колокольней с зеленой черепичной крышей и четырехугольной красной башней, оставшейся от времен мавров и горделиво выделявшейся, на необъятной лазури неба,

своей короной с разбитыми и осыпавшимися зубцами, напоминая беззубую челюсть старика.

Деревенские себялюбцы не могли опомниться от изумления. И влюбился же, должно быть, дядя Сенто, если женится, так скандально нарушая все традиционные обычаи! Где это видано, чтобы человек, который владеет четвертой частью селенья, у которого больше ста бурдюков в бодее *) и пять мулов в конюшне, брал в жены девушку, в детстве воровавшую фрукты, да помогавшую по хозяйству в богатых домах, где ее подкармливали.

Все были согласны в мнении на этот счет. Ах, если бы встала из гроба синья Томаса, первая жена дяди Сента, да увидела, что ее большой дом на улице Майор, ее поля и ее спальня с монументальной кроватью, которою она так гордилась, должны перейти к этой сопливой девчонке, которая не так еще давно выпращивала у нее ломоть хлеба!

Этот человек с ума сошел. Нужно было видеть его физиономию, полную обожания, с которой он смотрел на Марьету, идиотскую улыбку, с которой он слушал все, что бы она ни сказала, его нежные позы и манеры,—и это в его годы, в пятьдесят шесть лет! Более всего протестовали против такого неслыханного поступка

*) Винный погреб.

девушки из достаточных семейств, которые сами, верные эгоизму и традициям, не нашли бы ничего неудобного в том, чтобы отдать свою смуглую ручку этому старому петуху, подтягивавшему свое изрядное брюшко черным шелковым поясом и поглядывавшему своими недобрыми серыми глазами из-под широких, нависших бровей, в которых, по выражению его врагов, набралось бы более полукуля шерсти.

Все были согласны в одном: дядя Сенто рехнулся. Все, что у него было до женитьбы, и все, что он получил по наследству от жены, все должно было теперь достаться Марьете, этой лицемерке, которая сумела вскружить ему голову до такой степени, что богомолки на паперти шушукались между собой, будто девчонка спуталась с нечистой силой и подсыпала старику приворотных порошков.

Что делалось в воскресенье, на первом оглашении, это просто скандал! Нужно было послушать разговоры родственников покойной синьи Темасы после главной мессы. Это воровство, да, господа! Покойная оставила все свое состояние мужу в уверенности, что он никогда ее не забудет, а теперь этот подлый вор, не стесняясь своими годами, добивается смазливой девчонки и отдает ей все, что принадлежало той, другой. Нет справедливости на свете, если такие вещи допускаются! Но попробуйте протестовать, суньтесь-

ка в суд в наше время! Совершенно справедливо сказал дон Висенте, господин ректор, что теперь все идет у нас шиворот на выворот. Пора бы сесть на престол дону Карлосу: только он один не потатчик всем этим мерзавцам.

Так судачили в толпе на площади те, кто считал себя несправедливо обиженным этой предстоящей женитьбой, и почти все жители Бени-муслина поддакивали им, сочувствуя их ропоту.

Некоторые соображения говорили за то, что этот брак не приведет к добру, и что охваченный бешеной любовью старикашка должен будет оплакивать свою глупость. Хорошенькое получит он головное украшеньице, нечего сказать! Все селенье, как нельзя лучше, знало, что у Марьеты есть возлюбленный, Тони Десгаррат *),—бездельник, друг ее детства, бегавший с нею по виноградникам, а теперь, любивший ее самым честным образом; он только и ожидал, чтобы жениться на ней, когда придет охота работать и надоест сидеть в трактире, пропивая клочок земли, доставшийся ему по наследству, в компании со своим собутыльником, флейтистом Димони, другим пропащим малым, который являлся за ним из соседнего селения, чтобы вместе устраивать свои знаменитые попойки, после ко-

*) Бесстыжий.

терых они засыпали где-нибудь на копне со-
ломы.

Родственники Томасы смотрели теперь на
Десгаррата с симпатией: он должен был ото-
мстить за них.

И те самые люди, которые раньше презирали
его, богатеи, воротившие от него нос при встре-
чах, теперь заискивали перед ним в трактире в
день первого оглашения, присосеживаясь к это-
му молодчику, который сидел на плетеном табу-
рете с красивым плащем на коленях, с окурком
сигары, прилипшим к губам, и со взором, устре-
мленным в стакан, отбрасывавший под солнечны-
ми лучами беспокойное красное пятно на обитую
цинком доску столика.

— Послушай, Десгаррат,—говорили они ему с
деланной флегмой, — ведь Марьета-то выходит
замуж.

Но Десгаррат встречал насмешку пожатием
плеч. Это мы еще посмотрим! Не хвались на
пир идучи,—а он... чорт побери!—всем известно,
что он достаточно храбрый малый для того, что-
бы сцепиться с дядей Сенто, который тоже спу-
ску давать не любит.

Да, действительно, оба были таковы, потому-
то все и ожидали знатной стычки.

Что-нибудь да случится непременно.

Дяди Сенто, как глаголо всеобщее мнение, ни-
кто еще не одолел: он пользовался большим ве-

ом на выборах, имел влиятельных друзей в Ватенсии, несколько раз бывал алькадом *) и при-
вык с полнейшей безнаказанностью награждать
карой-другой палочных ударов всякого, кто
вздумае ему перечить.

II.

Наступил день подписания свадебного кон-
тракта. Дядя Сенто не умел делать дела наполю-
вину, и, кроме того, хороша была бы и сама
Марьета и ее родня, если бы они упустили та-
кой случай.

Жених давал невесте триста унций, кроме
одежды и драгоценностей, принадлежавших его
первой жене.

Дом Марьеты, жалкую лачугу на краю селе-
ния, с единственным инвентарем, в виде телеги
перед порогом, да двух-трех кляч в хлеве, по-
сетили все девушки селения.

Это был настоящий израильский день всеоб-
щего отпущения грехов! Обявшись за талию или
взявшись под руку, девушки прогуливались груп-
пами мимо длинных подмостков, покрытых рос-
кошными белыми стегаными одеялами, на кото-
рых красовались свадебные подарки и наряды

*) Городской или сельский староста.

невесты, ослепляя своим великолепием и вызывая восклицания восторга.

Дева Пресвятая! Какая роскошь!

Белье, сложенное высокими стопами чуть ниже до самого потолка, тщательно выглаженное, несколько сероватое, так как было сделано из прочного, плотного полотна, пахло чистотой и шелоком, в котором было выварено. Тут были дюжины дюжин всего, начиная с рубах и кончая кухонными полотенцами; все было помечено вышитыми метками кричащих цветов и обильно отделано кружевами; платья из плотного, шелестящего шелка блестели острым металлическим блеском; от юбок из полосатого колленкора веяло свежестью цветущей весны; мантили поражали тонкими, сложными узорами; белые и черные корсеты с прoderнутыми в них красными ленточками нескромно давали понятие о фигуре невесты своими строгими контурами; в картонках лежали манильские шали с фантастическими птицами, парящими по небу из белого шелка, и с группами китайцев, то длинноусых и суровых, то безволосых и глуповатых, изумляющих своими фарфоровыми лицами простодушных девушек, которые видели себя затем во сне в этих таинственных стран, где мужчины носят юбки и косы и имеют свиные глазки. Далее шли подарки друзей; большею частью это были кропильницы для святой воды для спальни, с фарфоровыми ан-

гелами, и ящики с ножами накладного серебра; два огромных канделябра величественно возвышались среди остального,—это был подарок маркиза, кацика округа, самого знаменитого человека в Испании, по мнению дяди Сенто, который всякий раз, как подымался вопрос об избрании его в депутаты от округа, выказывал готовность пустить в ход палку и взяться за ружье.

И, достойным образом завершая эту выставку приданого, на самом видном месте гордо помещались драгоценности, сверкая на шелковых гранатового цвета подушечках футляров; жемчужные серьги и брошки с самыми замысловатыми подвесками вроде кистей винограда, большие золотые головные шпильки для пышных буклей на висках, три большие булавки с головками из жемчужин, которыми должен был быть приколот венец и драгоценности, знаменитые во всем Бенимуслине, которые Томаса купила за четырнадцать унций на улице Ювелиров.

Ну, и счастливица же эта Марьета! Она жеманилась и краснела каждый раз, как начинали толковать об ее будущем счастье, но нужно было видеть обильные слезы матери, незаметной, сухой, сморщенной маленькой женщины, и волнение извозчика, который, как слуга, ходил по пятам за своим будущим зятем и выказывал к нему крайнее уважение, подобающее высшему существу.

Вечером состоялось чтение дарственной записи. Приехал нотариус дон *) Хулиан в своей старой таратайке, в сопровождении помощника, несчастного малого с голодной физиономией, с роговой чернильницей, торчащей из его кармана, и листом гербовой бумаги под мышкой.

Дон Хулиан, как настоящий триумфатор, вступил в кухню, где уже был приготовлен для писца столик и зажжена лампа с четырьмя свечками.

Что это за ученый был человек! Он читал дарственную запись по-валенсиански и пересылал сухой текст шуточками собственного изобретения... Во всем мире не нашлось бы такого олуха, который мог бы оставаться серьезным в присутствии этого синьора **), никогда не смеявшегося и, до известной степени, напоминавшего духовное лицо в своем длиннополом черном сюртуке, похожем на сутану, с пухлой, розовой, тщательно выбритой физиономией и с большими очками, поднятыми на лоб, что в глазах обитателей Бенимуслина была одной из необъяснимых причуд, свойственных великим талантам.

Нотариус начал диктовать вполголоса, писец измарывал каракулями лист гербовой бумаги, а

*) Дон — частица, обозначающая раньше, в соединении с именем, дворянское происхождение, а теперь употребляемая в отношении всех людей, не принадлежавших к „простолюду“.

**) Господина.

тем временем появлялись один за другим друзья дома со священником и алькадом во главе и исчезали с широкого стола свадебные подарки, уступая место массивным, посыпанным сахаром печеньям, вазам с вареньем, тонким, сухим, точно картон, тортам и более чем полудюжине бутылок розовой наливки и мараскина.

Дон Хулиан несколько раз прокашлялся, встал, обдернул свой сюртук, и все кругом погрузилось в молчание, между тем как он взял исписанный лист с еще невысохшими чернилами и начал читать по-валенсиански.

Ну, и забавник же был этот человек! Произнося имя жениха, он скорчил смешную гримасу, и дядя Сенто первый же приветствовал ее бурным взрывом хохота; упомянув имя невесты, он отвесил Марьете бальный поклон, что снова вызвало смех; но когда началось перечисление условий брачного договора, все стали серьезны; казалось, в этой кухне задул вихрь эгоизма и жадности, и даже невеста подняла выше голову с сверкающими глазами и раздувающимися от возбуждения ноздрями, когда пошла речь об унциях, о винограднике на Уединенном Склоне и об оливковой роще у Нижней Дороги,—все это переходило теперь в ее собственность. Дядя Сенто был единственным человеком, который улыбался, довольный тем, что может показать такому

почтенному собранию, до какой степени доходит его щедрость.

Вот как дела делаются! Родители Марьеты плакали навзрыд, а соседки кивали головами в знак одобрения. Да, за такого человека можно отдать дочку без всяких угрызений совести.

Когда бумага была подписана, пошли в ход сласти и вино. Нотариус так и блистал остроумием, между тем, как его голодный писец набивал себе желудок и за себя, и за своего принципала вместе.

Дон Хулиан был просто кладом для своей невзыскательной аудитории. Вот посмотрите, что он будет выкидывать в день свадьбы! Дон Висенте, священник и он напьются вдребезги, предлагая один за другим тосты за счастье молодых, честное слово!

К одиннадцати часам обряд чтения брачного контракта кончился. Священник поспешил удалиться, придя в ужас от того, что он еще не в постели в такой поздний час, когда на следующий день ему предстоит служить раннюю мессу; алькад составил ему компанию, и, наконец, ушел и дядя Сенто с нотариусом и его писцом, которых он повел к себе ночевать.

На улице было темно. За домом Марьеты стоял густой мрак полей, из которого долетал шелест листьев да стрекотанье кузнечиков; над крышами на темном-темном синем небе мерцали

звезды; во дворах заливались собаки, вторя ржанию рабочих лошадей. Селение спало, и нотариус и его помощник шли осторожно, боясь споткнуться о какой-нибудь камень на этих незнакомых улицах.

— Ave Maria purissima!—кричал вдали чей-то хриплый от простуды голос. Одиннадцать!.. Ясно *).

Дон Хулиан начинал чувствовать себя несколько жутко в этом непроглядном мраке. Ему чудились поблизости какие-то подозрительные силуэты, а на углу улицы он как будто различал людей, сидящих там в засаде и наблюдающих за дверью дома Марьеты...

Идут!.. раздался страшный треск, точно разорвали разом все белье невесты, и на перекрестке улицы взвилась огромная линия пламени, которая стала быстро двигаться как раз на них зигзагами и со страшным свистом; у нотариуса волосы стали дыбом.

Это была большая ракета. Ну, и шутки—нечего сказать! Нотариус, весь дрожа, прижался к двери, а писец почти свалился к его ногам, и в таком положении они пробыли несколько секунд, показавшиеся им столетиями, с тревогой глядя, как ракета носилась от одной стены к дру-

*) Ночной сторож, снабженный пикой и фонарем, по ночам выкрикивает часы и состояние погоды.

гой, точно вырвавшийся из клетки зверь, размахивая огненным хвостом, рассыпающим искры, и три-четыре раза прерывая свой свистящий хрип, пока, наконец, не разорвалась со страшным грохотом.

Дядя Сенто храбро остался посреди улицы... Тысяча дьяволов! Он прекрасно знает, чьи это проделки.

— Подлая сволочь!—крикнул он хриплым от бешенства голосом.

И, махая своей толстой палкой, он угрожающе двинулся вперед, очевидно, ожидая встретить за углом Десгаррата со всей родней синьи Томасы.

III.

С раннего утра колокола Бенимуслина были уже в движении.

Сегодня была свадьба дяди Сенто,—эта новость циркулировала по всему округу,—и из соседних селений прибывали друзья и родственники, одни верхом на своих рабочих лошадях, спины которых были покрыты красивыми попонами, другие—в телегах с веревочными сиденьями, привязанными к продольным жердям; в телеге помещалась вся семья, начиная с жены, с лоснящимися, щедро вымазанными маслом волосами и в бархатной накидке, и кончая малыша-

ми, хныкающими от материнских подзатыльников, которыми их угощали каждый раз, как они посягали на чистоту своих праздничных нарядов. Дом дяди Сенто превратился в настоящий ад. Какая суматоха! Со вчерашнего дня в нем не знали покоя. Соседки, пользующиеся славой хороших стряпух, бегали по двору с засученными рукавами и с подколотыми сзади верхними юбками, из-под которых виднелись белые нижние, а под большой смоковницей несколько парней разжигали костры, подкидывая сухие виноградные лозы.

Это была настоящая бойня. Деревенский мясник с ножом в руке перерезывал горла курам; мальчишки с величайшим энтузиазмом занимались их ощипыванием; на обгаренной кровью земле образовались целые вороха слепленных мскрых перьев, и нежная кожа птиц, покрытая еще пухом, опаливалась на колеблющемся огне; после этого их вешали на ветку смоковницы, откуда брала их уже тетка Паскуала, старая служанка дома, чтобы выпотрошить; потроха, лаковые кусочки, должны были пойти на завтрак кухонным помощникам.

Приятно было видеть все это оживление. Эти люди, осужденные на маханье мотыкой в течение круглого года от зари и до зари, не видящие другого утешения, кроме сырого помидора, заплесневелой сардинки или твердой, как подо-

шва, трески, пьянели от созерцания приготовлений к этому гигантскому, жирному обеду. Ну, и ухлопано же тут деньжищ! Как хорошо жить в таком доме, где есть все, что только сотворил Господь хорошего!

Котлы шеголяли своими закопченными боками и блестящими, как серебро, внутренностями в ожидании минуты, когда надо будет шипеть и булькать на огне; рису лежали целые мешки; улитки в огромных кастрюлях, наполненных доверху солью, выползая из воды, выставляли свои подвижные рожки навстречу восходящему солнцу; в одном углу целая хлебная печь распространяла в этой атмосфере крови и жира благовонный запах горячего, мягкого хлеба; пряности целыми фунтами лежали на латунном ящике; из босдеги таскали бурдюки за бурдюками, и они, трепеща, падали на землю, точно содрогающиеся тела; в одних было красное вино к обеду, в других, поменьше, содержался нектар «заповедного бурдюка», этот патриарх среди вин, о котором все в селении говорили с уважением и который своим чистым цветом и своей пенящейся короной, сверкающей брильянтами, валил с ног самого крепкого пьяницу.

А сластей-то! Матерь Божья! Дядя Сенто приволок целую кондитерскую из Валенсии. В мешках лежали тянучки, засахаренный миндаль, корица, все те метательные снаряды из сахара и

крахмала, твердые, словно пули, которые должны были покрыть шинками и синяками головы назойливой, без усталости просящей детворы; а в доме, в спальне, хранились вещи более тонкие. торты, покрытые сахарными цветами и увенчанные дрожжащими на проволоке бабочками, нежные воздушные печенья, монументальные подносы с горами засахаренных фруктов,—словом, лакомства, на которые дети приглашенных смотрели издали, бледные от волнения и посасывая пальцы от жадности.

Праздник сулил много хорошего. Радость светилась на покрасневших лицах; на дворе развязывали бурдюки, чтобы отведать винца и набраться сил, и если чего еще не доставало, то только музыки,—как вдруг на улице раздались веселые звуки флейты, выделявавшей головомнейшие фокусы: даже Димони был на свадьбе, потому что, как говорили, жених не стоял за расходами. Нужно было поднести и Димони винца, чтобы он лучше играл, и огромный стакан замелькал, переходя из рук в руки, по двору к воротам, где Димони так и хлопал стакан за стаканом, оставляя остатки своему тамборилеро.

И вот настало время: дон Висенте ожидал уже в церкви; колокола смолкли, и свадебный кортеж отправился за невестой,—женщины в своих пышных платьях и надвинутых на глаза мантильях, мужчины—волоча свои новые синие плащи с

длинными пелеринами и с высокими воротниками, которые докрасна натирали им уши. Все селение ожидало у церковных дверей. Некоторые родственники покойной Томасы, нарушая семейное постановление, находились тут же, в последних рядах, не будучи в силах побороть любопытства, и подымались на цыпочки, чтобы лучше видеть.

Впереди ватага мальчишек выделяла козлиные прыжки вокруг Димони, который, откинув голову назад, дул в задранную кверху флейту, причем казалось, будто это огромный нос, которым он нюхает небо, а за ними шли жених и невеста,—он в бархатном сомбреро и в плаще, надетом в рукава, так что от жары кровь приливала к его потному лицу, а из-под плаща виднелись ноги в расшитых чулках и тонких альпаргатах.

А она? Женщины не могли глаз оторвать от нее, восхищаясь ею. Парица небесная! Она казалась важной синьорой, приехавшей из Валенсии, в своей кружевной мантилье, в манильской шали, которая своей длинной бахромой мела пыль, в шелковом платье, раздувшемся от бесчисленного множества нижних юбок, с перламутровыми четками, намотанными на руку, с целым куском золота и кучей брильянтов на груди в виде броши и в огромных, тяжелых жемчужных

серьгах покойной Томасы, которые оттягивали ее уши.

Эти серьги до глубины души возмущали родственников покойной.

— Вор! Хуже вора!—рычали они, глядя на дядю Сенто.

Но последний вступил в церковь с самодовольным видом, сверкая своими глазками из-под широких бровей, а за ним потянулись шафера, алькад со своим патрулем с ружьями на-плечо и все приглашенные, обливаясь потом, который крупными каплями катился с них под тяжестью парадных плащей и больших шалей, перевязанных на груди крест-на-крест; все были нагружены сластями, которые предстояло бросать при выходе из церкви.

Любопытные, оставшиеся в дверях, посматривали на трактир на площади: туда пошел флейтист, как будто его уши не выносили звуков органа, и там встретился с Десгарратом и его приятелями, забубенными головами селения, самым подозрительным человеком, который, молча,пил, обмениваясь лишь улыбками да подмигиваниями с врагами дяди Сенто.

Очевидно, что-то подстраивалось; женщины о чем-то таинственно переговаривались, озабоченные, точно боялись, что селение вдруг загорится разом с четырех концов.

Свадебный кортеж показался в дверях церкви. Боже великий, какая тут поднялась кутерьма! Точно из-под земли выросшая грязная, растрепанная детвора толпилась вокруг и напирала на дверь, крича: «Сластей! Бросайте сласти!..» В то же время Димони приближался, играя Королевский марш.

Пора! И сам дядя Сенто бросил в толпу первую горсть конфект, точно выпустил заряд картечи; конфеты, ударяясь о твердые головы и отскакивая от них, падали в пыль, где и подбирали их мелюзга, ползая на четвереньках и показывая спины и грязные ноги.

И с этой минуты до самого дома молодых бомбардировка не прекращалась: участники кортежа без устали швыряли конфекты, а патруль, приведенный алькадом, прокладывал им дорогу пинками и палками.

Проходя мимо трактира, Марьета опустила голову и побледнела, когда увидела, как насмешливо улыбнулся ее муж, взглянув на Десгаррата, который ответил на его улыбку непристойным жестом. Господи Боже! Этот каторжный, наверно, постарается испортить ей сегодняшний праздник!

Приглашенных ожидал шоколад. Но не следовало наедаться до отвала,—таков был совет дона Хулиана, нотариуса: нужно было помнить, что через каких-нибудь два часа будет большой

обед. Однако, не взирая на столь благоразумные советы, толпа яростно напала на напитки и закуски, на корзинки с бисквитами, на блюда со сладостями, и в короткое время огромный стол, вокруг которого было более сотни стульев, оказался чист, как ладонь.

Невеста переменяла платье в спальне, вышла в новеньком ситце, с обнаженными смуглыми руками, и сверкала жемчугами своих булавок в блестящих волосах.

Нотариус болтал со священником, который явился в маленьком бархатном берете и праздничной сутане. Гости рыскали по двору, интересуясь приготовлениями к обеду; женщины искали прохлады в тени и, составив несколько кружков, толковали о своих семейных делах; детвора шныряла по соседству с спальней, привлекаемая запертыми там сокровищами, а во входных дверях раздавалась неутомимая флейта Демони, между тем как оборванные ребятишки, награждая друг друга подзатыльниками, боролись и ползали в пыли, подбирая конфеты, горстями, летевшие из окон.

Наконец, наступил торжественный момент, и сковороды, шипящие, с вьющимся над ними синеватым дымком, были поставлены на стол.

Гости поторопились занять места. Ну, и зрелище! Прав был священник, с изумлением повторявший, что самому пиршеству Валтасара

далеко до этого обеда. А нотариус, не желая от-
стать от священника, стал сравнивать эту свадь-
бу со свадьбой какого-то Камачо, о которой чи-
тал в какой-то книге,—он сам не помнил, в ка-
кой.

Люди попроще обедали на дворе.

Там же за небольшим столиком вроде тех,
какие бывают у сапожников, сидел Димони, еже-
минутно посылавший своего тамборилера туда,
где лежали бурдюки с вином, с поручением на-
полнить ему кружку.

Господи Боже, как усердно работал весь этот
люд! Зубы, окрепшие на ежедневных обедах,
состоящих из жесткой солонины, весело жева-
ли, а глаза с нежностью устремлялись на эти ка-
стрюли, огромные, точно котлы, в которых ку-
сков курицы, разбухших от питательного соуса,
было такое же множество, как зернышек риса.

С носовыми платками на груди, вместо сал-
феток, мужчины уписывали за обе щеки, между
тем как женщины жеманно подносили ко рту
кончик ложки с двумя-тремя зернышками риса,
верные предрассудку деревенских жителей, ко-
торые считают неприличным, если женщина мно-
го ест на людях.

Ели по-господски: не прямо со сковороды, на
которой подавали кушанье, а на тарелках, и пили
каждый из отдельного стакана, что несколько
стесняло сотрапезников, привыкших втыкать

корку
круж

П
всей
с од

мягк
нию,

было
кажд

пред
М

муж
лоб

трев
мо,

Э

уша
ные

она
лет

ляй
угол

это

Дес
мое

лае
дар

С
тепе

корку хлеба в рис, чтобы подать сигнал, что пора кружке начать переходить из рук в руки.

Простонародная учтивость проявлялась со всей своей настойчивостью и нечистоплотностью: с одного конца комнаты в другой предлагались мягкие и сочные куски и доходили по назначению, переходя из одних пальцев в другие. Это было выражением высшей любезности: точно у каждого не было на тарелке того же, что ему предлагали.

Марьета почти не ела. Она сидела подле мужа с опущенной головой. Она была бледна, ее лоб хмурился, отражая тягостные думы, и она с тревогой посматривала на входную дверь, видимо, боясь появления Десгаррата.

Этот проклятый был способен на все. В ее ушах еще раздавались последние слова, сказанные им в ту ночь, когда они простились навсегда: она еще вспомнит о нем, если из жадности выйдет за дядю Сенто. И она знала, что этот негодяй с лицом еретика способен выкинуть все, что угодно. Но что было всего удивительнее, так это то, что, несмотря на весь ее страх, ярость Десгаррата вызывала в ней какое-то необъяснимое чувство удовольствия. Что же тут поделаешь, если этот каторжный так ее любит? Не даром же они росли вместе.

Обед оживлялся. Кастрюли были уже пусты; теперь на сцену явились шедевры тетки Паску-

алы, и гости приналегли на жареных и фаршированных цыплят, на огромные блюда жирной свинины в томате, на все эти произведения местной кухни, плотные и тяжелые, которые с таким проворством исчезали в незакрывающихся пастьях.

Остряки заботились о том, чтобы обед шел весело. Священник объявлял, что не в силах больше есть, и тогда нотариус принимался уминать его круглое брюшко, чтобы найти свободное местечко, и убеждал священника, что он непременно должен заполнить его. Некоторые, видимо, выпили уже лишнее и заплетающимся языком говорили молодым такие вещи, которые заставляли дядю Сенто моргать глазами, а Марьету краснеть.

Явилось последнее сладкое блюдо с знаменитым вином из «заветного бурдюка», а из спальни принесли печенье, пастилу и изящные торты.

Точно мухи налетели со двора ребятишки с перемазанными жиром и рисом лицами и грудью, чтобы укрыться на коленях у матерей, не сводя глаз с искусовых сластей.

Марьета встала и с блюдом в руках начала обходить стол: гости должны были подарить что-нибудь молодой жене на булавки, — таков был обычай. И родственники дяди Сенто, которым желательно было сохранять с ним хорошие отношения, бросали на круглое фаянсовое блюдо пол-

уники или альфонсидоры *), блестящие монеты, заранее очищенные от черного налета, приобретенного вследствие долгого лежания под замком.

— На булавки!—говорила Марьета жеманным голоском.

Просто наслаждение было видеть этот золотой дождь, падающий на блюдо!.. Все давали; даже нотариус положил пять дуро **), подумав при этом, что надо будет возместить их при получении гонорара за составление брачного контракта, а священник с видом страдальца бросил две песеты ***), сославшись, в виде оправдания, на бедность церкви, обвинявшей по милости либералов. О, если бы у власти стояли ее защитники!..

Раскрыв объемистый карман своей юбки, Марьета ссыпала в него с блюда золото, с веселым, радующим слух, звоном.

Дело шло превосходно. Все говорили в один голос, и прохожие останавливались на улице, чтобы полюбоваться веселым обедом.

Светлое вино, искрящееся брильянтами, оказывало свое действие. Все так и горели желанием произносить тосты.

— Тост!.. Еще тост!..—ревели весельчаки.

*) Монета в 25 песет.

**) Дуро—пять песет, серебряная монета.

***) Песета равня франку, около 40 коп. по старому курсу.

И какой-нибудь хитрец, встав со стаканом в руке и окинув стол лукавым, многообещающим взглядом, раздражался виршами:

Провозглашаю тост и пью здоровье ваше!

Не даром же сюда позвали вы меня!

И все, несмотря на то, что слышали эту шутку еще от дедов, принимали ее с громким хохотом и кричали, хлопая в ладоши: «Молодец! Молодец!»

Вслед за этим проявлением остроумия шли другие, столь же незамысловатые, и не было ни одного человека, который не сунулся бы с импровизацией длиннохвостого стишка в честь нобробрачной четы.

Нотариус был в своей стихии. Он уверял, будто дядя Сенто только-что отдал ему ногу под столом, вообразив, что это ножка Марьеты; он говорил о ночи, которая наступит вслед за этим днем, так, что вгонял в краску стыда молодых девушек и вызывал улыбку у матерей, а весельчак священник с влажными, блестящими глазами пытался сохранить серьезность, добродушно бормоча:

— Ну, ну, дон Хулиан! Постыдитесь! В моем присутствии...

Вино пробудило в обедающих грубые инстинкты. Они кричали, поскакав с своих мест, сбрасывая на пол своими яростно размахивающими руками бутылки и стаканы; пели под ак-

компанимент флейты Димони, под звуки которой на дворе топталось несколько пар танцующих, и, наконец, инстинктивно разделившись на два лагеря, принялись швырять друг в друга, с одного конца стола на другой, горсти конфет во всю силу своих здоровенных рук, привыкших к борьбе с неблагодарной землей и упрямым рабочим скотом.

Ай да забава! Дядя Сенто хохотал, в высшей степени довольный, но священник с женщинами поспешил укрыться в спальне, а нотариус подлез под стол.

Стекла вделанных в стену шкапов со звоном разлетались вдребезги, разбивалась посуда, стук ее черепков раздавался беспрерывно, а бойцы разгорячились до того, что, не находя больше конфет под рукою, швыряли уже остатки печення и осколки битых тарелок.

— Будет, будет!—кричал дядя Сенто, устав получать удары.

И, так как никто его не слушал, то он вскопил и пинками выпроводил всех во двор, где разгоряченные парни продолжали перестрелку, принявшись за менее чистые метательные снаряды.

Тогда женщины, а с ними и струсивший священник вернулись в столовую. Дева Пресвятая! Как нехорошо! Какая грубая игра! И женщины принялись оказывать помощь контуженным уча-

стникам игры, которые со смехом вытирали кровь, текущую из их голов, не переставая уверять, что превосходно повеселились.

Все опять уселись кругом стола, на котором все было перевернуто вверх дном, вино пролилось, а остатки от обеда образовали неприятные пятна.

Но и тут дело не обошлось без испуга: некоторые почтенные матроны, испуская пронзительные крики от страха, повскакали со своих мест, уверяя, будто что-то ползает под столом и щекочет их толстые икры.

Это были мальчишки, которые, еще не пресытившись конфетами, ползали на четвереньках под столом и подбирали то, что осталось от битвы.

Вот чертенята! Проваливайтесь!.. Ну, марш! Марш!

И град пинков и подзатыльников изгнал назойливых любителей сластей, положив конец их нашествию.

О, Господи, ну, и свадьба! Уж подлинно можно сказать, что все повеселились вволюшку!

А за дверьми гнусавила флейта, выделявая безумные, головокружительные трели, точно и она заразилась этим грубым наивным весельем.

IV.

К десяти часам вечера в доме новобрачных оставалось только несколько человек.

С наступлением сумерек из сарая начали выезжать телеги и выводиться оседланные верховые лошади: большинство гостей пустилось в обратный путь в свои селения, распевая во всю глотку и желая молодоженам приятной ночи.

Обитатели Бенимуслина тоже расходились по домам, и на темных улицах можно было видеть не одну женщину, с трудом тащившую своего качающегося муженька, который был неспособен на излишество в обыкновенные дни, но в праздник веселился, как подобает мужчине.

Старая таратайка нотариуса прыгала по выбоинам дороги, а в ней с очками, с'ехавшими на кончик носа, дремал дон Хулиан, предоставив править своему писцу, не взирая на то, что последний был не трезвее принципала.

В доме оставались только родители Марьеты да несколько родственников.

Дядя Сенто обнаруживал признаки нетерпения. «Каждому филину своя маслина»: после такого хлопотливого дня пора бы уже и ложиться спать. И его глазки под густыми бровями блестели жадным выражением.

— До свидания, дочь моя! — кричала мать Марьюты. — До свиданья!..

И она так рыдала и обнимала дочь, точно той грозила смертельная опасность.

Что касается отца, старого извозчика, уносящего в своем брюхе добрую половину бодети, то он протестовал заплетающимся языком, но с насмешливым негодованием. Тысяча дьяволов! Этак девчонке, чего доброго, представится, что ее осудили на смерть и ведут на эшафот! Ей-Богу, есть от чего помереть со смеху! Неужели ее мать считает таким ужасом то, что она вышла замуж?

И он подталкивал свою старуху, желая оторвать ее от Марьюты, которая тоже заливалась слезами; и так, среди вздохов и всхлипываний, они дошли до двери, которую дядя Сенто и запер, наконец, за ними на засовы и на цепь.

Наконец-то они остались одни. Там, наверху, на чердаке, спала тетка Паскуала; в людской спали слуги, но в нижнем этаже, в главной части дома, были лишь они одни среди беспорядка, оставшегося после банкета, при колеблющемся свете монументальной лампы.

Наконец-то она была его! Она сидела в плетеном кресле, с'ежившись, точно стремясь уменьшиться до того, чтобы совсем исчезнуть.

Дядю Сенто била лихорадка от нетерпения и, в пылу своей старческой страсти, он не знал, что

делать... Тысяча чертей! Ничего подобного с ним не бывало, когда он женился на Томасе. Вот что делают годы.

Но с чего-нибудь да надо же было начать, и он предложил Марьете перейти в спальню. Но хороша оказалась красotka, нечего сказать! Более упрямого и неприступного создания дядя Сенто в жизни не видал.

Нет, она не двинется с места; она не пойдет в спальню, хоть убейте ее; она желает провести ночь здесь, на этом кресле.

И как только муж делал попытку к ней приблизиться, она в страхе вся с'еживалась, точно улитка, чуть-чуть что не свертываясь в клубок в своем плетеном кресле.

Дядя Сенто устал просить. Прекрасно! Если у нее такие фантазии, он желает ей доброй ночи.

И сердито схватив лампу, он ушел в спальню.

Марьету охватил безогчетный страх в темноте. Этот большой незнакомый дом пугал ее; ей почудилось во мраке широкое, покрытое старческими веснушками лицо покойной Томасы, и, вся дрожа, она сломя голову, точно кто-то гнался за нею, бросилась в спальню вслед за мужем.

Она окинула взглядом эту комнату, лучшую во всем доме, с мебелью из Витории, с гравюрами религиозного содержания на стенах, с маленькими, незажженными лампадками перед ни-

ми и огромными платяными шкапами соснового дерева.

На пузатом комодѣ с бронзовыми ручками возвышался большой киот, полный статуи святых и засохших цветов; его окружали стеклянные канделябры с желтыми восковыми свечами, искривившимися от времени; подле постели висѣла крошкльница со святой водой, с прикрепленной над ней пальмовой ветвью от Вербного Воскресения, а подле висѣло на гвозде ружье дяди Сенто, двустволка, всегда заряженная крупной дробью на всякий случай, потому что мало ли что могло случиться.

Но высшую степень великолепия, завершающую убранство, представляла знаменитая кровать покойной Томасы,—сложное сооружение из резного, крашеного дерева, имеющее в головах добрую половину высших чинов небесного двора и снабженное целой грудой тюфяков, покрытых красным парчевым одеялом.

Муж улыбался, довольный своей победой.

А-а, пришла небось! Всегда надо слушаться и не быть глупенькой. Он ей же хочет добра, потому что сильно любит ее.

Несмотря на свою грубость, старик говорил это таким сладеньким голоском, точно у него во рту еще оставалась конфетка от обеда, и в то же время смело протягивал к ней руки.

— Не надо!.. — отвечала Марьета задыхающимся от страха голосом. — Не подходи!

И она стала перебегать с места на место, спасаясь от мужа. Она спасалась из угла в угол, с тоской оглядывая стены, точно надеясь увидеть в них отверстие, в которое она могла бы улизнуть.

Если бы только она не боялась темноты, она сейчас же выскользнула бы за дверь спальни, чтобы положить конец нестерпимой борьбе.

Дядя Сенто оставил ее в покое и начал раздеваться с покорным видом.

— Однако, как ты еще глупа, — сказал он философским тоном.

И он повторял эту фразу бесчисленное множество раз, пока снимал с себя альпарты и плисовые панталоны и развязывал черный пояс, вследствие чего его живот снова приобрел свою вздутую форму и эластичность.

Издали донесся бой церковных часов, бьющих одиннадцать.

Пора было покончить с этим смешным положением; ляжет Марьета в постель или нет?

Дядя Сенто задал свой вопрос таким властным тоном, что молодая женщина поднялась, точно автомат, отвернувшись лицом к стене и начала медленно раздеваться.

Она сняла с шеи платок, затем после долгих колебаний на кресло упал ее лиф.

Показался зашнурованный корсет ослепительной белизны с продернутыми по краю красными ленточками, а над ним смуглая спина теплого янтарного тона, с нежной кожей зрелого персика, а еще выше пленительная линия затылка с пышными завитками волос.

Дядя Сенто стал осторожно приближаться к ней, раскачивая на ходу большим мягким животом. Пусть она бросит глупости: он поможет ей раздеваться.

И он пытался зайти между нею и стеной, чтобы увидеть ее спереди и отвести эти руки, судорожно скрестившиеся на пышной, упругой груди, стянутой корсетом.

— Не тронь! Не хочу!—с тоской кричала девушка.—Уходи! Убирайся!

С неожиданной силой она толкнула этот живот, загораживавший ей дорогу, и, попрежнему закрывая грудь, поспешно спряталась между постелью и стеной по другую сторону.

Дядя Сенто совсем рассердился: шутка переходила границы. Он хотел было кинуться за Марьей в ее убежище, но едва тронулся с места, как—тысяча чертей!—ему показалось, будто все селенье проваливается, будто на дом напали все дьяволы из ада, будто наступило светопреставление.

Раздался взрыв. Ударили палками в жестянки от керосина; потрясали бесчисленными бубен-

чками; огромные матраки *) и колокольчики, снятые со всех коров, стучали и звонили вместе, а через секунду стали взлетать ракеты, шипя и разрываясь подле самого окна спальни. Через щели жалюзи проникал красноватый отблеск пожара.

Он догадывался, кому был этим обязан. Если бы его не пугало наказание, если бы не существовало на свете тюрьмы, уж он бы показал этой сволочи!..

И он бранился и топал ногами, забыв свой любовный пыл, не помня о Марьете, которая вначале испугалась этого адского грохота, а теперь рыдала, точно ее слезы могли что-нибудь уладить.

Недаром предупреждали ее подруги: она выходит за вдовца, и ей, по этому случаю, устроят кошачий концерт.

Да еще какой концерт, господа! По всем правилам, с куплетами, которые слушатели (целая толпа народа) приветствовали хохотом и ржанием, а как только эти куплеты умолкали, моментально подымался грохот жестянок и колокольчиков, гнусаво и насмешливо играла флейта и простуженный голос, который Марьета знала, — и еще как знала! — снова пел о старости ново

*) Колесо с деревянными молотками и с доска с железными кольцами, в которую бьют, сзывая на богослужение, вместо колоколов, в три последних дня Страстной недели.

брачного, о давно утратившей невинность новобрачной и о грозящей дяде Сенто опасности завтра же отправиться на кладбище, если только он посмеет исполнить сегодня свой супружеский долг.

— Мерзавцы! Подлецы!—ревел новобрачный и носился, как безумный, по спальне, размахивая руками, точно ловя и давя в воздухе эти куплеты, долетавшие с улицы.

Но его одолевало болезненное любопытство: он желал видеть, кто эти молодчики, которые его здирают, и он задул лампу, а затем открыл форточку в жалюзи.

Вся улица была запружена народом. Несколько пучков пакли горели красноватым пламенем, и их огонь озарял светом пожара кучку главных исполнителей кошачьего концерта, оставляя во мраке остальную толпу.

Зачинщики были налицо: впереди—Десгаррат, а за ним—вся родня синьи Томасы. Но что окончательно привело в негодование дядю Сенто, так это то, что здесь же был и Димони: этот негодный вор аккомпанировал на своей флейте непристойным куплетам, когда всего лишь несколько часов назад получил за свою работу на свадьбе целых два дура, блестящих, как два солнца! И как смеялся этот еретик каждый раз, как его приятель Десгаррат откалывал какую-нибудь новую непристойность!

Что больше всего уязвило дядю Сенто,—хотя он об этом впоследствии умалчивал,—это то, что при нанесении ему этого оскорбления присутствовала половина селения, те самые люди, которые раньше боялись его и заискивали перед ним, униженно вымаливая его благосклонность. Его звезда закатывалась. Все потеряли к нему уважение после сделанной им глупости—женитьбы на девчонке.

В нем проснулась гордость грубого человека, привыкшего, чтобы его воля исполнялась, и он дрожал с головы до ног от жестокой обиды.

Он был согласен терпеть шум,—пусть колотят и звонят, сколько душе угодно, но пусть не поет этот негодяй, потому что от его куплетов кровавый туман застилает его глаза.

Но Десгаррат был неистощим, и толпа вышла от восторга после каждого куплета. Старик, окончательно выведенный на себя, отскочил от окна и стал точно искать чего-то во мраке спальни.

Однако, он вернулся и еще некоторое время стоял у форточки; он видел, как толпа раздвинулась, давая дорогу нескольким друзьям Десгаррата, которые тащили на плечах что-то большое и черное.

— Вечная память! Вечная память!—ревела толпа, подражая похоронному пению.

И новобрачный увидел двигающиеся мимо, как хоругвь, огромные, изогнутые деревянные

рога, привязанные к концу палки, а затем гроб, в котором лежало чучело с двумя большими клоками шерсти на месте бровей.

Господи, ведь это они его хоронят! Они осмеливаются бросать ему в лицо эту кличку б р о в а с т ы й, которую никто не посмел бы раньше произнести в его присутствии.

Он взревел и, отшатнувшись от окна, бросился, в темноте, ошупью вдоль стены, ища чего-то, приложился и раздался два выстрела, мгновенно прекратившие грохот кошачьего концерта. Он выстрелил, не целясь, но его желание убить было так сильно, что он был вполне уверен, что не промахнулся.

Красные факелы потухли, послышался топот поспешно убегавшей толпы, и раздалось несколько голосов, кричавших с улицы:

— Негодяй!.. Убийца! Бровастый! Покажут тебе теперь, мерзавец!

Но дядя Сенто не слышал криков. Он стоял, как вкопанный, посреди спальни, точно ошеломленный тем, что сделал, с теплым еще ружьем, которое жгло ему руки.

Марьета билась в припадке на полу. Ее мучительное хрипенье было единственным, что он слышал, и, изливая свое бешенство на того, кто был всего ближе к нему, он прошипел свирело:

— Молчи!.. Чорт тебя побери! Молчи, не-то я убью тебя, как собаку!..

Дядя Сенто вышел из своего столбняка лишь тогда, когда раздались громкие удары во входную дверь.

— Отворите! Именем закона!

Очевидно, слуги проснулись задолго до этого, потому что двери тотчас были открыты, и к спальне стал приближаться стук ружейных прикладов и топот подбитых гвоздями сапог.

Когда дядя Сенто вышел на улицу между двух жандармов, он увидел труп Десгаррата, весь усеянный ранами: заряд дробы не пропал даром.

Приятели убитого грозили ему издали ножами; даже Димони, шатаясь и оттого, что был пьян, и от волнения, грозно цехился в него своей флейтой. Но он никого не видел и, идя с опущенной головой, бормотал с горечью:

— Хороша свадебная ночь!

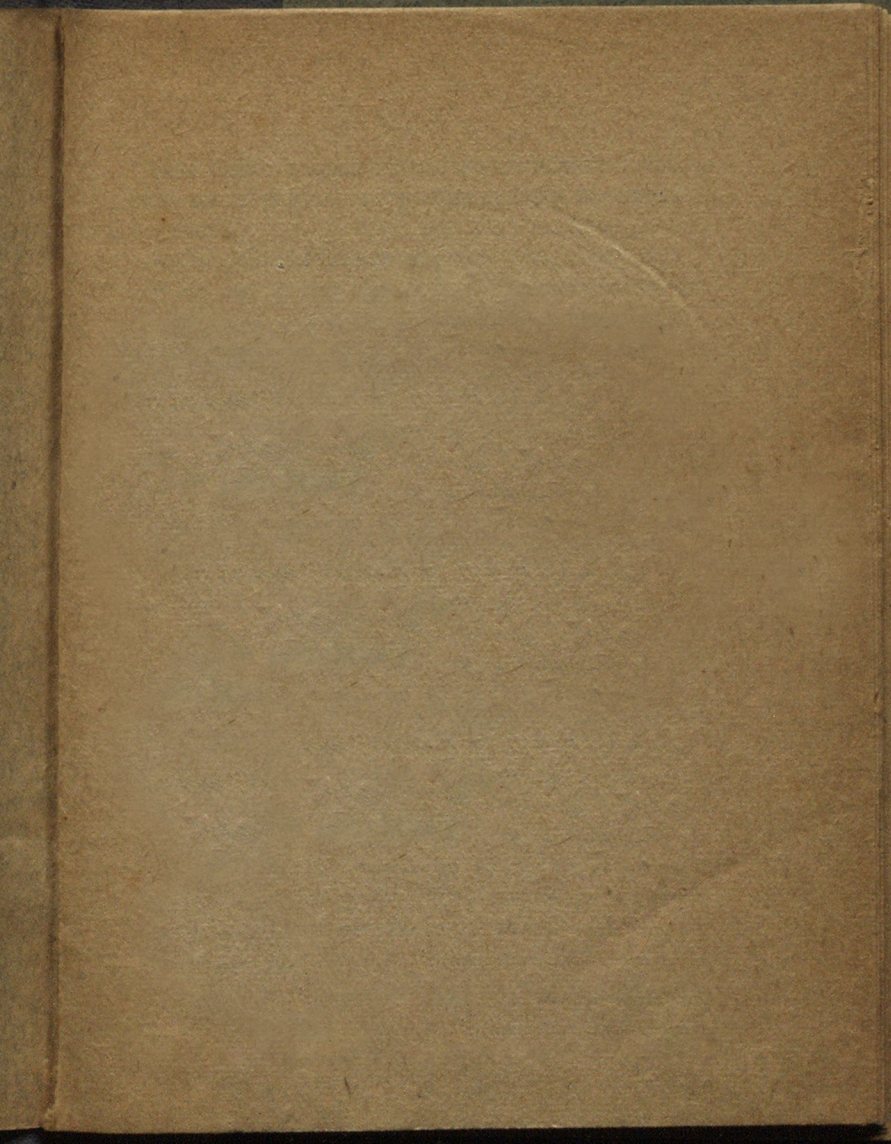
Перевод с испанского

А. В а л ь т е р.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
Предисловие Е. А. Френкель	5—20
Брачная ночь	21—55
„Обыкновенное дело!“	56—68
Краса Валенсии	69—90
Димони	91—105
Кошачий концерт	106—143

Перев. А. Вальтер.



40K
536

ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА"
ПЕТЕРБУРГ
Моховая №36

цЕНА 14 РУБ.